



ФТМ

Владимир Войнович

Жизнь и необычайные
приключения солдата
Ивана Чонкина

Книга 1.
Лицо неприкосновенное



Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина

Владимир Войнович

**Жизнь и необычайные
приключения солдата Ивана
Чонкина. Лицо неприкосновенное**

«ФТМ»

1969-75

Войнович В. Н.

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина.
Лицо неприкосновенное / В. Н. Войнович — «ФТМ»,
1969-75 — (Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана
Чонкина)

ISBN 978-5-699-23742-5

Иван Чонкин – простой советский «бравый солдат» и один из самых любимых персонажей писателя Владимира Войновича. Рядовой Чонкин получает задание – охранять самолет, совершивший вынужденную посадку на колхозном поле в селе Красном. С началом войны начальство забывает про солдата, и Чонкин спокойно живет в деревне с почтальоном Нюрой, ведет хозяйство и продолжает охранять вверенную ему технику, перетаскивая ее для удобства в огород...

ISBN 978-5-699-23742-5

© Войнович В. Н., 1969-75

© ФТМ, 1969-75

Содержание

Предисловие	6
Часть первая	7
1	7
2	12
3	16
4	18
5	21
6	24
7	27
8	31
9	33
10	36
11	39
12	41
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Владимир Войнович
Жизнь и необычайные приключения
солдата Ивана Чонкина
Книга первая
Лицо неприкосновенное

© Текст. В. Н. Войнович, наследники, 2020

© Агентство ФТМ, Лтд., 2020

* * *

Предисловие

Если вы сравнительно молодой человек, впервые взяли в руки эту книгу, то вам, может быть, будет интересно узнать, что в Советском Союзе она была двадцать лет запрещенной, но читаемой и – достаточно широко. Распространялась исключительно в Самиздате, а затем в Тамиздате. Самиздатом занимались добровольные распространители, которые на свой страх и риск перепечатывали на пишущих машинках понравившуюся им рукопись, передавали своим знакомым, а те опять садились за пишущую машинку. Так тираж множился совершенно стихийно и иногда доходил до значительных чисел. Разумеется, каждый экземпляр прочитывался многими людьми, так что количество читателей значительно превосходило число отпечатанных текстов. Именно это имел в виду Александр Галич, написавший в одной из своих песен: «„Эрика“ (марка немецкой пишущей машинки. – *Прим. В. В.*) берет четыре копии, вот и все и этого достаточно». При этом все участники самиздатского процесса, писатели, издатели и читатели не только никакой материальной выгоды из своей деятельности не извлекали, но рисковали собственным благополучием, а в некоторых случаях даже свободой. Постепенно Самиздат стал вытесняться Тамиздатом. Произведения, ходившие по рукам внутри страны, каким-то образом попадали на Запад, там уже издавались в виде нормальных книг и затем возвращались в нашу страну, куда их завозили (опять-таки рискуя нарваться на серьезные неприятности) туристы, журналисты, дипломаты, спортсмены, моряки и прочие люди, имевшие возможность пересекать отечественные рубежи. Поскольку книга считалась сатирической, осмеивавшей советские порядки, автор подвергся гонениям и был исключен из Союза советских писателей, изгнан из Советского Союза и лишен советского гражданства. К этому времени книга уже была переведена на три десятка языков, чем автор был доволен, но все-таки ему мечталось, что когда-то придет время, и книга вполне легально будет издана в родной стране и станет широкодоступной его соотечественникам.

Многие авторы этого никогда не дождались, но автору «Чонкина» повезло. В декабре 1988 года вышел номер журнала «Юность» с первыми главами романа, и три с половиной миллиона тиража были мгновенно расхвачены. С тех пор прошло еще четверть века. Эта книга переиздавалась много раз, на хорошей бумаге в красивых обложках, и, конечно, мне это приятно. Но какими бы привлекательными ни были сегодняшние издания, а те самиздатские, на плохой бумаге, не очень умело переплетенные и зачитанные до дыр, вызывают во мне особое чувство. Из сохранившихся у меня тогдашних изданий «Чонкина» мне особенно дороги два машинописных на русском и литовском языках и, имеющее не очень товарный вид, подпольное издание польской «Солидарности». Замечательный поэт Максимилиан Волошин когда-то выразился так: «Почетней быть твердым наизусть и списываться тайно и украдкой, при жизни быть не книжкой, а тетрадкой». Но все-таки, как говорится, свобода лучше, чем несвобода, и слава богу, что теперь книги можно писать, издавать и читать не тайно и не украдкой; что автор, издавая книгу, рискует только тем, что ее не примет читатель. В этом смысле у книги, которую вы раскрыли, судьба счастливая. Она выжила в суровые годы запретов, но испытание свободой тоже выдержала, чему свидетельство это переиздание, уже не помню, какое по счету. Ее прочли миллионы людей на тридцати пяти языках. Если вам она тоже понравится, то имейте в виду, что вся история жизни и приключений ее героя – солдата Ивана Чонкина – от молодых лет до старости изложена в трех книгах, а это только первая из них. Надеюсь, прочтя ее, вам захочется узнать, что с героем случилось дальше, и вы приобретете всю трилогию.

Владимир Войнович

Часть первая

Вынужденная посадка

1

Было это или не было, теперь уж точно сказать нельзя, потому что случай, с которого началась (и тянется почти что до наших дней) вся история, произошел в деревне Красное так давно, что и очевидцев с тех пор почти не осталось. Те, что остались, рассказывают по-разному, а некоторые и вовсе не помнят. Да, по правде сказать, и не такой это случай, чтоб держать его в памяти столько времени. Что касается меня, то я собрал в кучу все, что слышал по данному поводу, и прибавил кое-что от себя, прибавил, может быть, даже больше, чем слышал. В конце концов история эта показалась мне настолько занятной, что я решил изложить ее в письменном виде, а если вам она покажется неинтересной, скучной или даже глупой, так плюньте и считайте, что я ничего не рассказывал.

Произошло это вроде бы перед самой войной, не то в конце мая, не то в начале июня 1941 года – в этих примерно пределах.

Стоял обыкновенный, жаркий, как бывает в это время года, день. Все колхозники были заняты на полевых работах, а Нюра Беляшова, которая служила на почте, прямого отношения к колхозу не имела и была в тот день выходная, копалась на своем огороде – окучивала картошку.

Было так жарко, что, пройдя три ряда из конца в конец огорода, Нюра совсем умиралась. Платье на спине и под мышками взмокло и, подсыхая, становилось белым и жестким от соли. Пот затекал в глаза. Нюра остановилась, чтобы поправить выбившиеся из-под косынки волосы и посмотреть на солнце – скоро ли там обед.

Солнца она не увидела. Большая железная птица с перекошенным клювом, заслонив собой солнце и вообще все небо, падала прямо на Нюру.

– Ай! – в ужасе вскрикнула Нюра и, закрыв лицо руками, замертво повалилась в борозду.

Кабан Борька, рывший землю возле крыльца, отскочил в сторону, но, увидев, что ему ничто не угрожает, вернулся на прежнее место.

Прошло сколько-то времени. Нюра очнулась. Солнце жгло спину. Пахло сухой землей и навозом. Где-то чирикали воробьи и кудахтали куры. Жизнь продолжалась. Нюра открыла глаза и увидела под собой комковатую землю.

«Что ж это я лежу?» – подумала она недоуменно и тут же вспомнила про железную птицу.

Нюра была девушка грамотная. Она иногда читала «Блокнот агитатора», который регулярно выписывал парторг Килин. В «Блокноте» недвусмысленно говорилось, что всяческие суеверия достались нам в наследство от темного прошлого и их надо решительно искоренять. Эта мысль казалась Нюре вполне справедливой. Нюра повернула голову вправо и увидела свое крыльцо и кабана Борьку, который по-прежнему рыл землю. В этом не было ничего сверхъестественного. Борька всегда рыл землю, если находил для этого подходящее место. А если находил неподходящее, тоже рыл. Нюра повернула голову дальше и увидела чистое голубое небо и желтое слепящее солнце.

Осмелев, Нюра повернула голову влево и снова упала ничком. Страшная птица существовала реально. Она стояла недалеко от Нюриного огорода, широко растопырив большие зеленые крылья.

«Сгинь!» – мысленно приказала Нюра и хотела осенить себя крестным знаменiem, но креститься, лежа на животе, было неудобно, а подниматься она боялась.

И вдруг ее словно током пронзило: «Так это же аэроплан!» И в самом деле. За железную птицу Нюра приняла обыкновенный самолет «У-2», а перекошенным клювом показался ей неподвижно застывший воздушный винт.

Едва перевалив через Нюрину крышу, самолет опустился, пробежал по траве и остановился возле Федьки Решетова, чуть не сбив его правым крылом.

Федька, рыжий мордатый верзила, известный больше под прозвищем Плечевой, косил здесь траву.

Летчик, увидев Плечевого, расстегнул ремни, высунулся из кабины и крикнул:

– Эй, мужик, это что за деревня?

Плечевой нисколько не удивился, не испугался и, приблизившись к самолету, охотно объяснил, что деревня называется Красное, а сперва называлась Грязное, а еще в их колхоз входят Клюквино и Ново-Клюквино, но они на той стороне реки, а Старо-Клюквино хотя и на этой, относится к другому колхозу. Здешний колхоз называется «Красный колос», а тот – имени Ворошилова. В «Ворошилове» за последние два года сменилось три председателя: одного посадили за воровство, другого за растление малолетних, а третий, которого прислали для укрепления, сперва немного поукреплял, а потом как запил, так и пил до тех пор, пока не пропил личные вещи и колхозную кассу, и допил до того, что в припадке белой горячки повесился у себя в кабинете, оставив записку, в которой было одно только слово «Эх» с тремя восклицательными знаками. А что это «Эх!!!» могло значить, так никто и не понял. Что касается здешнего председателя, то он хотя тоже пьет без всякого удержу, однако на что-то еще надеется.

Плечевой хотел сообщить летчику еще ряд сведений из жизни окрестных селений, но тут набежал народ.

Первыми подросли, как водится, пацаны. За ними спешили бабы, которые с детишками, которые беременные, а многие и с детишками и беременные одновременно. Были и такие, у которых один ребятишек за подол цепится, другой за руку, вторая рука держит грудного, а еще один в животе попевает. К слову сказать, в Красном (да только ли в Красном?) бабы рожали охотно и много и всегда были либо беременные, либо только что после родов, а иногда и вроде только что после родов, а уже и опять беременные.

За бабами шкандыбали старики и старухи, а с дальних полей, побросав работу, бежали и остальные колхозники с косами, граблями и тямками, что придавало этому зрелищу явное сходство с картиной «Восстание крестьян», висевшей в районном клубе.

Нюра, которая все еще лежала у себя в огороде, снова открыла глаза и приподнялась на локте.

«Господи, – сверкнула в мозгу ее тревожная мысль, – я здесь лежу, а люди давно уж глядят».

Спохватившись на свои еще не окрепшие от испуга ноги, она проворно пролезла между жердями в заборе и кинулась к постепенно густевшей толпе. Сзади стояли бабы. Нюра, расталкивая их локтями, стонала:

– Ой, бабы, пустите!

И бабы расступались, потому что по голосу Нюры понимали, что ей край надо пробиться вперед.

Потом пошел слой мужиков. Нюра растолкала и их, говоря:

– Ой, мужики, пустите!

И наконец очутилась в первом ряду. Она увидела совсем близко самолет с широкой масляной полосой по всему фюзеляжу и летчика в коричневой кожаной куртке, который, прислонившись к крылу, растерянно глядел на подступавший народ и вертел на пальце потертый шлем с дымчатыми очками.

Рядом с Нюрой стоял Плечевой. Он посмотрел на нее сверху вниз, засмеялся и сказал ласково:

– Ты гляди, Нюрка, живая. А я думал, тебе уже все. Я ведь эроплан первый заметил, да. Я тут у бугра сено косил, когда гляжу: летит. И в аккурат, Нюрка, на твою крышу, на трубу прямо, да. Ну, думаю, сейчас он ее счесет.

– Бреешь ты все, – сказал Николай Курзов, стоявший от Плечевого справа.

Плечевой споткнулся на полуслове, посмотрел на Николая тоже сверху вниз, поскольку был выше на целую голову, и, подумав, сказал:

– Бреет собака. А я говорю. А ты свою варежку закрой, да, и не раскрывай, пока я тебе не дам разрешения. Понял? Не то я тебе на язык наступлю.

После этого он поглядел на народ, подмигнул летчику и, оставшись доволен произведенным впечатлением, продолжал дальше:

– Эроплан, Нюрка, от твоей трубы прошел вот на вершок максима. А минимума и того менее. А если б он твою трубу зацепил, так мы бы тебя завтра уже обмывали, да. Я бы не пошел, а Колька Курзов пошел бы. Он до женского тела любопытный. Его прошлый год в Долгове в милиции три дня продержали за то, что он в женскую баню залез и под лавкой сидел, да.

Все засмеялись, хотя знали, что это неправда, что Плечевой это придумал сейчас. А когда перестали смеяться, Степан Луков спросил:

– Плечевой, а Плечевой, а ты когда увидал, что эроплан за трубу зацепится, испужался ай нет?

Плечевой презрительно сморщился, хотел сплюнуть, да некуда было – всюду народ. Он проглотил слюну и сказал:

– А чего мне пужаться? Эроплан не мой и труба не моя. Кабы моя была, может, спужался б.

В это время один из мальчишек, крутившихся тут же под ногами у взрослых, изловчился и шархнул по крылу палкой, отчего крыло загудело, как барабан.

– Ты что делаешь? – заорал на мальчишку летчик.

Мальчишка испуганно юркнул в толпу, но потом снова вылез. Палку, однако, выбросил.

Плечевой, послушав, какой звук издало крыло, покачал головой и спросил у летчика со скрытым ехидством:

– Свиной кожей обтянуто?

Летчик ответил:

– Перкалью.

– А чего это?

– Такая вещь, – объяснил летчик. – Материя.

– Чудно, – сказал Плечевой. – А я думал, он весь из железа.

– Кабы из железа, – влез опять Курзов, – его бы мотор в высоту не поднял.

– В высоту поднимает не мотор, а подъемная сила, – сказал известный своей ученостью кладовщик Гладышев.

За образованность Гладышева все уважали, однако в этих его словах усомнились.

Бабы этих разговоров не слушали, у них была своя тема. Они разглядывали летчика в упор, не стесняясь его присутствием, словно он был неодушевленным предметом, и вслух обсуждали достоинства его туалета.

– Кожанка, бабы, – чистый хром, – утверждала Тайка Горшкова. – Да еще со складками. Для их, видать, хрома не жалеют.

Нинка Курзова возразила:

– Это не хром, а шевро.

– Ой, не могу! – возмутилась Тайка. – Какое ж шевро? Шевро-то с пупырышками.

– И это с пупырышками.

– А где ж тут пупырышки?

– А ты пощупай – увидишь, – сказала Нинка.

Тайка с сомнением посмотрела на летчика и сказала:

– Я бы пошшупала, да он, наверно, щекотки боится.

Летчик смутился и покраснел, потому что не знал, как на это все реагировать.

Его спас председатель Голубев, который подъехал к месту происшествия на двуколке.

Само происшествие застало Голубева в тот момент, когда он вместе с одноруким счетоводом Волковым проверял бабу Дуню на предмет самогоноварения. Результаты проверки были налицо: председатель слезал с двуколки с особой осторожностью, он долго нащупывал носком сапога железную скобу, подвешенную на проволоке вместо подножки.

В последнее время пил председатель часто и много, не хуже того, что повесился в Старо-Клюквине. Одни считали, что он пил, потому что пьяница, другие находили, что по семейным причинам. Семья у председателя была большая: жена, постоянно страдавшая почками, и шестеро детей, которые вечно ходили грязные, вечно дрались между собой и много ели.

Все это было бы еще не так страшно, но, как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать – хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже.

Поначалу, когда от каждой избы все стаскивали в одну кучу, оно выглядело внушительно и хозяйствовать над этим было приятно, а потом кое-кто спохватился и пошел тащить обратно, хотя обратно-то не давали. И председатель себя чувствовал вроде той бабы, которую посадили на кучу барахла – сторожить. Окружили ее с разных сторон, в разные стороны тащат. Одного за руку схватит, другой в это время из-под нее еще что-нибудь вымыкнет, она к тому, этот убежал. Что ты будешь делать?

Председатель тяжело переживал создавшееся положение, не понимая, что не он один виноват в том.

Он все время ждал, что вот приедет какая-нибудь инспекция и ревизия, и тогда он получит за все и сполна. Но пока что все обходилось. Из района наезжали иногда разные ревизоры, инспекторы и инструкторы, пили вместе с ним водку, закусывали салом и яйцами, подписывали командировочные удостоверения и уезжали подобиру-поздорову. Председатель даже перестал их бояться, но, будучи человеком от природы неглупым, понимал, что вечно так продолжаться не может и что нагрянет когда-нибудь Высшая Наиответственнойная Инспекция и скажет свое последнее слово.

Поэтому, узнав, что за околицей, возле дома Нюры Беляшовой, приземлился самолет, Голубев ничуть не удивился. Он понял, что час расплаты настал, и приготовился встретить его мужественно и достойно. Счетоводу Волкову он приказал собрать членов правления, а сам, пожевав чаю, чтобы хоть чуть-чуть убить запах, сел в двуколку и поехал к месту посадки самолета, поехал навстречу своей судьбе.

При его появлении толпа расступилась, образовав между ним и летчиком живой коридор. По этому коридору председатель довольно твердой походкой прошел к летчику и издали протянул ему руку.

– Голубев Иван Тимофеевич, председатель колхоза, – четко назвал он себя, стараясь дышать на всякий случай в сторону.

– Лейтенант Мелешко, – представился летчик.

Председателя несколько смутило, что представитель Высшей Инспекции такой молодой и в таком скромном чине, но он виду не подал и сказал:

– Очень приятно. Чем могу служить?

– Да я и сам не знаю, – сказал летчик. – У меня маслопровод лопнул и мотор заклинило.

Пришлось вот сесть на вынужденную.

– По заданию? – уточнил председатель.

– Какое задание? – сказал летчик. – Я вам говорю – на вынужденную. Мотор заклинило.

«Давай, давай, заливай больше», – подумал про себя Иван Тимофеевич, а вслух сказал:

– Если чего с мотором, так это можно помочь. Степан, – обратился он к Лукову, – ты бы пошуровал, чего там такое. Он у нас на тракторе работает, – объяснил он летчику. – Любую машину разберет и опять соберет.

– Ломать – не строить, – подтвердил Луков и, достав из бокового кармана своей промасленной куртки разводной гаечный ключ, решительно двинулся к самолету.

– Э-э, не надо, – поспешно остановил его летчик. – Это не трактор, а летательный аппарат.

– Разницы нет, – все еще надеялся Луков. – Что там гайки, что здесь. В одну сторону крутишь – закручиваешь, в другую сторону крутишь – откручиваешь.

– Вам надо было не здесь садиться, – сказал председатель, – а возле Старо-Клюквина. Там и МТС и МТМ – враз бы все починили.

– Когда сядишься на вынужденную, – терпеливо объяснил летчик, – выбирать не приходится. Увидел – поле не засеяно, и прижался.

– Травопольной системы придерживаемся, потому и не засеяно, – сказал председатель, оправдываясь. – Может, хотите осмотреть поля или проверить документацию? Прошу в контору.

– Да зачем мне ваша контора! – рассердился летчик, видя, что председатель к чему-то клонит, а к чему – непонятно. – Хотя подождите. В конторе телефон есть? Мне позвонить надо.

– Чего ж сразу звонить? – обиделся Голубев. – Вы бы сперва посмотрели, что к чему, с народом бы поговорили.

– Послушайте, – взмолился летчик, – что вы мне голову морочите? Зачем мне говорить с народом? Мне с начальством поговорить надо.

«Во какой разговор пошел, – отметил про себя Голубев. – На „вы“ и без матюгов. И с народом говорить не хочет, а прямо с начальством».

– Дело ваше, – сказал он обреченно. – Только я думаю, с народом поговорить никогда не мешает. Народ, он все видит и все знает. Кто сюда приезжал и кто чего говорил, и кто кулаком стучал по столу. А чего там говорить! – Он махнул рукой и пригласил к себе в двуколку: – Садитесь, отвезу. Звоните сколько хотите.

Колхозники снова расступились. Голубев услужливо подсадил летчика в двуколку, потом взгромоздился сам. При этом рессора с его стороны до отказа прогнулась.

2

Дежурный по части капитан Завгородний в расстегнутой гимнастерке и давно не чищенных, покрывшихся толстым слоем пыли сапогах, изнывая от жары, сидел на крыльце штаба и наблюдал за тем, что происходило перед входом в казарму, где размещалась комендантская рота.

А происходило там вот что. Красноармеец последнего года службы Иван Чонкин, маленький, кривоногий, в сбившейся под ремнем гимнастерке, в пилотке, надвинутой на большие красные уши, и в сползающих обмотках, стоял навтыжку перед старшиной роты Песковым и испуганно глядел на него воспаленными от солнца глазами.

Старшина, упитанный розовощекий блондин, сидел, развалиясь, на скамеечке из некрашенных досок и, положив ногу на ногу, покуривал папироску.

– Ложись! – негромко, словно бы нехотя скомандовал старшина, и Чонкин послушно рухнул на землю.

– Отставить! – Чонкин вскочил на ноги. – Ложись! Отставить! Ложись! Товарищ капитан, – крикнул старшина Завгороднему. – Вы не скажете, сколько там на ваших золотых?

Капитан посмотрел на свои большие часы Кировского завода (не золотые, конечно, старшина пошутил) и лениво ответил:

– Половина одиннадцатого.

– Такая рань, – посетовал старшина, – а жара уже, хоть помирай. – Он повернулся к Чонкину: – Отставить! Ложись! Отставить!

На крыльцо вышел дневальный Алимов.

– Товарищ старшина, – закричал он, – вас к телефону!

– Кто? – спросил старшина, недовольно оглядываясь.

– Не знаю, товарищ старшина. Голос такой хриплый, будто простуженный.

– Спроси – кто?

Дневальный скрылся в дверях, старшина повернулся к Чонкину:

– Ложись! Отставить! Ложись!

Дневальный вернулся, подошел к скамейке и, с участием глядя на распластанного в пыли Чонкина, доложил:

– Товарищ старшина, из бани звонят. Спрашивают: мыло сами будете получать или пришлете кого?

– Ты же видишь, я занят, – сдерживаясь, сказал старшина. – Скажи Трофимовичу – пусть получит. – И снова к Чонкину: – Отставить! Ложись! Отставить! Ложись! Отставить!

– Слышь, старшина, – полюбопытствовал Завгородний. – А за что ты его?

– Да он, товарищ капитан, разгильдяй, – охотно объяснил старшина и снова положил Чонкина. – Ложись! Службу уже кончает, а приветствовать не научился. Отставить! Вместо того, чтоб как положено честь отдавать, пальцы растопыренные к уху приставит и идет не строевым шагом, а как на прогулочке. Ложись! – Старшина достал из кармана платок и вытер вспотевшую шею. – Устанешь с ними, товарищ капитан. Возишься, воспитываешь, нервы тратишь, а толку чуть. Отставить!

– А ты его мимо столба погоняй, – предложил капитан. – Пусть пройдет десять раз строевым шагом туда и обратно и поприветствует.

– Это можно, – сказал старшина и заплевал папироску. – Это вы правильно, товарищ капитан, говорите. Чонкин, ты слышал, что сказал капитан?

Чонкин стоял перед ним, тяжело дыша, и ничего не отвечал.

– А вид какой! Весь в пыли, лицо грязное, не боец, а одно недоразумение. Десять раз туда и сюда, равнение на столб, шагом... – старшина выдержал паузу, – марш!

– Вот так, – оживился капитан. – Старшина, прикажи: пусть носок тянет получше, сорок сантиметров от земли. Эх, разгильдяй!

А старшина, ободренный поддержкой капитана, командовал:

– Выше ногу. Руку согнуть в локте, пальцы к виску. Я тебя научу приветствовать командиров. Кругом... марш!

В это время в коридоре штаба зазвонил телефон. Завгородний покосился на него, но не встал, уходить не хотелось.

Он закричал:

– Старшина, ты посмотри, у него обмотка разматалась. Он же сейчас запутается и упадет. Прямо со смеху умрешь. И зачем только такое чучело в армию берут, а, старшина?

А телефон в коридоре звонил все настойчивее и громче. Завгородний неохотно поднялся и вошел в штаб.

– Слушаю, капитан Завгородний, – вяло сказал он в трубку.

Расстояние между деревней Красное и местом расположения части составляло километров сто двадцать, а может быть, больше, слышимость была отвратительная, голос лейтенанта Мелешко забивали какой-то треск, музыка, и капитан Завгородний с трудом понял, в чем дело. Сначала он даже не придал сообщению лейтенанта должного значения и вознамерился вернуться к прерванному зрелищу, но по дороге от телефона к дверям до него дошел смысл того, что он только что услышал. И осознав случившееся, он застегнул ворот гимнастерки, отер сапог о сапог и пошел докладывать начальнику штаба.

Постучав кулаком в дверь (начальник штаба был несколько глуховат), Завгородний, не дожидаясь ответа, приоткрыл ее и, переступив порог, закричал:

– Разрешите войти, товарищ майор?

– Не разрешаю, – тихо сказал майор, не поднимая головы от своих бумажек.

Но Завгородний не обратил на его слова никакого внимания, он не помнил случая, чтобы начальник штаба кому-либо что-либо разрешил.

– Разрешите доложить, товарищ майор?

– Не разрешаю. – Майор поднял голову от бумаг. – Что это у вас за вид, капитан! Небриты, пуговицы и сапоги не чищены.

– Пошел ты... – вполголоса сказал капитан и весело поглядел майору в глаза.

По губам капитана начштаба понял примерный смысл сказанного, но не был уверен в этом, поскольку вообще не мог себе представить, чтобы младший по званию дерзил старшему. Поэтому он сделал вид, что не понял капитана, и продолжал свое:

– Если вам не на что купить крем в военторге, я вам могу подарить баночку.

– Спасибо, товарищ майор, – вежливо сказал Завгородний. – Разрешите доложить: у лейтенанта Мелешко отказал мотор, и он сел на вынужденную.

– Куда сел? – не понял начштаба.

– На землю.

– Перестаньте острить. Я вас спрашиваю, где именно приземлился Мелешко.

– Возле деревни Красное.

Начштаба подошел к висевшей на стене карте, отыскал на ней Красное.

– Что же делать? – Он растерянно посмотрел на Завгороднего.

Тот пожал плечами:

– Вы начальник, вам виднее. По-моему, надо доложить командиру полка.

Начальник штаба и раньше не отличался большой смелостью по отношению к вышестоящим командирам, но теперь, по причине глухоты, боялся их еще больше, помня, что его в любое время могут уволить в запас.

– Командир сейчас занят, – сказал он, – руководит полетами.

– Вынужденная посадка – летное происшествие, – напомнил Завгородний. – Командир должен знать.

– Значит, вы думаете, удобно отрывать командира для этого дела?

Завгородний промолчал.

– А может, Мелешко сам как-нибудь справится с этим?

Завгородний посмотрел на него с сочувствием. Начштаба перевелся сюда из пехоты и мало понимал в летном деле.

– Разрешите отлучиться из части, товарищ майор. Я сам доложу командиру.

– Вот правильно, – обрадовался майор. – Вы сами идите и доложите ему от своего имени. Вы – дежурный по части и имеете право. Пойдите, Завгородний. Как же вы уйдете? А вдруг в части что-нибудь случится.

Но Завгородний уже не слышал его, он вышел и плотно закрыл за собой дверь.

Примерно через час он вернулся в штаб с командиром полка подполковником Опаликовым и с инженером полка Кудлаем. В штабе к тому времени оказался еще подполковник Пахомов, командир батальона аэродромного обслуживания. Он выяснял с начальником штаба какие-то свои дела и при появлении Опаликова хотел уйти, но тот его задержал. Стали обсуждать, что делать. Кудлай сказал, что на складе запасных моторов нет, а из дивизии раньше чем через неделю не получишь. Завгородний предложил отстыковать крылья, погрузить самолет на автомобиль и привезти сюда. Начальник штаба предложил тащить самолет на буксире, чем вызвал презрительную ухмылку Завгороднего. Подполковник Пахомов молчал и что-то отмечал в своем блокнотике, проявляя усердие в службе.

Опаликов слушал говоривших насмешливо. Потом встал, прошелся из угла в угол.

– Заслушав и обсудив всю ту хреновину, которую каждый из вас нес здесь в меру своих способностей, я пришел к выводу, что самолет мы оставим на месте до прибытия мотора. Если тащить его сто двадцать километров на автомобиле, от него останутся только дрова. А пока там надо поставить караул, хотя бы от пацанов, чтобы не растащили приборную доску. Это тебя касается. – Он махнул рукой в сторону Пахомова.

Подполковник Пахомов положил блокнот на подоконник и встал.

– Извините, ничего не получится, – робко сказал он.

Хотя он был чином равен Опаликову, а возрастом старше и непосредственно ему не подчинялся, Пахомов чувствовал превосходство Опаликова над собой. Потому что Опаликов был ближе не только к непосредственному начальству, но даже к центральной власти. Все знали, что родным дядей Опаликова был известный ученый, академик Григорий Ефимович Гром-Гримэйло, трудами которого, по слухам, интересовался лично товарищ Сталин. Казалось бы, при чем тут какой-то дядя, который даже и не военный? Но дядя в нашей системе всегда был важной фигурой, если был важным дядей. Начальники, стоявшие над Опаликовым, иные даже генеральского звания, учитывая наличие дяди, относились к племяннику с повышенным почтением. А уж подполковник Пахомов, тот и вовсе перед племянником сильно робел и, несмотря на формальную равенность чинов, ответно тыкать ему не смел.

– Извините, – повторил он, – никак не получится.

– Это почему еще не получится? – нетерпеливо спросил Опаликов.

Он не любил никаких возражений.

– Вся комендантская рота вторую неделю в карауле, и сменить некем. – Пахомов взял блокнот и заглянул в него. – Семь человек в лазарете, двенадцать на лесозаготовках, один в отпуске. Все.

– Ну хоть одного можно найти? Хоть заваливающего какого-нибудь. Пусть он там поспит возле машины, лишь бы было с кого спросить.

– Ни одного, товарищ подполковник, – при этом Пахомов сделал такое жалкое лицо, что не поверить ему было никак невозможно.

– Да, дело плохо, – задумался Опаликов и тут же вскрикнул: – Ура! Нашел! Послушай, пошли-ка ты этого... как его... боец у тебя есть такой зачуханный, на лошади ездит.

– Чонкин, что ли? – не поверил Пахомов.

– Конечно, Чонкин. До чего же я все-таки умный человек! – удивился Опаликов и хлопнул себя по лбу ладонью.

– Так он же... – попробовал возразить Пахомов. – На кухню дрова некому будет возить.

– Незаменимых людей у нас нет, – сказал командир полка.

Этот тезис был *апробирован*. Подполковник Пахомов не посмел ничего возразить.

3

Дорогой читатель! Вы уже, конечно, обратили внимание на то, что боец последнего года службы Иван Чонкин был маленького роста, кривоногий да еще и с красными ушами. «И что это за нелепая фигура! – скажете вы возмущенно. – Где тут пример для подрастающего поколения? И где автор увидел такого, в кавычках, героя?» И я, автор, прижатый к стенке и пойманный, что называется, с поличным, должен буду признаться, что нигде я его не видел, выдумал из своей головы и вовсе не для примера, а просто от нечего делать. «Допустим, это так, – скажете вы недоверчиво, – но зачем же выдумывать! Неужели автор не мог взять из жизни настоящего воина-богатыря, высокого, стройного, дисциплинированного, отличника учебно-боевой и политической подготовки?» Мог бы, конечно, да не успел. Всех отличников расхватали, и мне вот достался Чонкин. Я сперва огорчился, потом смирился. Ведь герой книги, он как ребенок – какой получился, такой и есть, за окошко не выбросишь. У других, может, дети и получше, и поумнее, а свой все равно всех дороже, потому что свой.

В предыдущей биографии Чонкина не было слишком уж ярких страниц, на которых стоило бы задерживать ваше внимание, но хотя бы в двух словах рассказать, откуда он родом, как жил и чем занимался раньше, вроде бы надо.

Итак, в одной приволжской деревне жила в свое время некая Марьяна Чонкина, обыкновенная деревенская женщина, вдова. Ее муж Василий Чонкин погиб в четырнадцатом году во время империалистической войны, которая, как известно, потом перешла в Гражданскую и продолжалась очень долго. В то время, когда шли бои за Царицын, деревня, где жила Марьяна, оказалась на скрещении военных дорог, через нее проходили то красные, то белые, просторный и пустой дом Марьяны нравился и тем и другим. Однажды в доме Марьяны целую неделю квартировал некто поручик Голицын, имевший какое-то, весьма неясное, отношение к знаменитому роду русских князей. Потом он уехал из этой деревни и, должно быть, о ней позабыл, но деревня о нем не забыла. И когда через год, а может и больше (никто не считал), у Марьяны родился сын, в деревне стали посмеиваться, говоря, что тут дело не обошлось без участия князя. Правда, еще подозревали в этом местного пастуха Серегу, но Серега решительно отпирался.

Сына Марьяна назвала Иваном, а отчество ему дала по погибшему мужу – Васильевич.

Первые шесть лет, о которых у Ивана не осталось никаких воспоминаний, он прожил в бедности. Мать его была слаба здоровьем, хозяйство совсем запустила, жила кое-как, перебиваясь с хлеба на воду, пока не утонула однажды в реке. Пошла в начале зимы полоскать на Волге белье и провалилась. Именно к этому времени и относятся первые воспоминания Чонкина о себе и окружающем мире.

Иван не остался один, его приютили бездетные соседи и однофамильцы, а может быть, даже родственники – Чонкины. У них не было детей много лет, они даже подумывали, не взять ли кого из приюта, а тут подвернулся такой вот случай. Чонкина одели, обули, а когда он малость подрос, стали приучать понемногу к хозяйству. То сено пошлют ворошить, то картошку в погребе перебирать, то еще чего по хозяйству. За это и поплатились.

В известное время стали искать в деревне кулаков, да ни одного не могли найти. А приказано было найти обязательно, хотя бы для примера. Тогда нашли Чонкиных, которые эксплуатировали чужой, да к тому же еще и детский труд. Чонкиных сослали, а Иван попал в детский дом, где его больше двух лет почем зря мучили арифметикой. Сначала он все это покорно переносил, но, когда дело дошло до деления целых чисел с остатком, не выдержал и дал деру в свою родную деревню.

К тому времени он уже немного подрос и у него доставало сил, чтобы затянуть супонь. Ему дали лошадь и послали работать на молочно-товарную ферму. И, не забывая о высоком происхождении Чонкина, говорили:

– Князь, запряжешь Чалого, поедешь навоз возить.

В армии его так не звали, потому что не знали этого прозвища, а в облике его ничего княжеского не было. Командир батальона Пахомов, встретив Чонкина в первый раз, сказал не задумываясь:

– На конюшню.

Сказал как приклеил. На конюшне Чонкину было самое место. С тех пор он и ездил все время на лошади – возил на кухню дрова и картошку. Со службой своей он освоился быстро и быстро усвоил ее основные законы, как, например: «Боец спит – служба идет», «Не спеши исполнять приказание, его могут и отменить» и т. д. и т. п.

И хотя за всю службу он не стал, подобно своим сверстникам, ни механиком, ни мотористом, жизнью своей, если бы не старшина, Чонкин был бы доволен вполне. Его не посылали в наряды, не заставляли мыть в казарме полы, освобождали от строевой подготовки. Он даже в казарме почти не бывал, зимой спал обычно на кухне, а летом – в конюшне на сене. Имея прямое отношение к кухне, питался по норме № 5, то есть по летной норме. Только от одной всеобщей обязанности он не был освобожден – от политзанятий.

4

Летом, в хорошую погоду, политзанятия проходили обычно не в помещении, а на опушке небольшой рощицы, в стороне от городка. Чонкин, как всегда, опоздал, но на этот раз не по своей вине. Сперва его воспитывал старшина, потом повар Шурка в самый последний момент послал его на склад за крупой. Кладовщика на складе не оказалось, пришлось бегать по всему городку, разыскивать. Когда Чонкин приехал наконец на лошади в рощу, все были уже в сборе. При появлении Чонкина руководитель занятий старший политрук Ярцев весьма тонко сязвил в том духе, что, мол, раз Чонкин явился, значит, теперь все в порядке – можно и начинать.

Бойцы расположились на небольшой лужайке вокруг широкого пня, на котором сидел старший политрук Ярцев.

Чонкин разнуздал лошадь и привязал ее неподалеку к дереву, чтобы она могла щипать траву, а сам себе выбрал место впереди бойцов, подальше от руководителя занятий. Он сел, поджав под себя ноги, и только после этого огляделся. И тут же понял, что место выбрал самое неудачное. Рядом с ним, глядя на него насмешливыми голубыми глазами, сидел его заклятый враг Самушкин. Этот Самушкин никогда не упускал случая, чтобы устроить Чонкину какую-нибудь пакость: в столовой смешивал сахар с солью, в казарме ночью (в тех редких случаях, когда Чонкину все же приходилось там спать) связывал вместе брюки и гимнастерку, и Чонкин из-за этого опаздывал на построение. А однажды Самушкин устроил Чонкину «велосипед» – вложил спящему между пальцев ног клочки бумаги и поджег. За это он получил два наряда вне очереди, а Чонкин трое суток хромал.

Увидев Самушкина, Чонкин понял, что лучше бы он сел в муравейник, потому что по игровому настроению Самушкина сразу понял, что добра от него ждать нечего.

Проходили тему «Моральный облик бойца Красной Армии». Старший политрук Ярцев достал из лежавшего на коленях большого желтого портфеля конспект, полистал его, вкратце напомнил бойцам то, что проходили на прошлых занятиях, и спросил:

– Кто желает выступить? Чонкин? – удивился он, заметив, что Чонкин дернул рукой.

Чонкин встал, оправил под ремнем гимнастерку и, переминаясь с ноги на ногу, уставился Ярцеву прямо в глаза. Так они смотрели друг на друга довольно долго.

– Ну что же вы не отвечаете? – не выдержал Ярцев.

– Не готов, товарищ старший политрук, – нерешительно пробормотал Чонкин, опуская глаза.

– Зачем же вы тогда поднимали руку?

– Я не поднимал, товарищ старший политрук, я жука доставал. Мне Самушкин бросил за воротник жука.

– Жука? – зловещим голосом переспросил Ярцев. – Вы что, товарищ Чонкин, пришли сюда заниматься или жуков ловить?

Чонкин молчал. Старший политрук встал и в волнении заходил по лужайке.

– Мы с вами, – начал он, медленно подбирая слова, – изучаем очень важную тему: «Моральный облик бойца Красной Армии». Вы, товарищ Чонкин, по политподготовке отстаете от большинства других бойцов, которые на политзанятиях внимательно слушают руководителя. А ведь не за горами инспекторская проверка. С чем вы к ней придете? Поэтому, между прочим, и дисциплина у вас хромает. Прошлый раз, когда я был дежурным по части, вы не вышли на физзарядку. Вот вам конкретный пример того, как слабая политическая подготовка ведет к прямому нарушению воинской дисциплины. Садитесь, товарищ Чонкин. Кто желает выступить?

Поднял руку командир отделения Балашов.

– Вот, – сказал Ярцев, – почему-то товарищ Балашов всегда первым поднимает руку. И его всегда приятно слушать. Вы конспект приготовили, товарищ Балашов?

– Приготовил, – скромно, но с достоинством сказал Балашов.

– Я знаю, что приготовили, – сказал Ярцев, глядя на Балашова с нескрываемой любовью. – Отвечайте.

Старший политрук снова сел на пень и, чтобы показать заранее, какое истинное наслаждение доставит ему четкий и правильный ответ Балашова, закрыл глаза.

Балашов развернул общую тетрадь в картонном переплете и начал читать громко, с выражением, не вставляя ни единого своего слова.

Пока он читал, бойцы занимались кто чем. Один, спрятавшись за спиной другого, увлекся «Мадам Бовари», двое играли в «морской бой», Чонкин предавался своим мыслям. Мысли у него были разные. Внимательно наблюдая жизнь, постигая ее законы, он понял, что летом обычно бывает тепло, а зимой – холодно. «А вот если бы было наоборот, – думал он, – летом холодно, а зимой тепло, то тогда бы лето называлось – зима, а зима называлась бы – лето». Потом ему пришла в голову другая мысль, еще более важная и интересная, но он тут же забыл, какая именно, и никак не мог вспомнить. И мысль об утерянной мысли была мучительна. В это время его толкнули в бок. Чонкин оглянулся и увидел Самушкина, про которого совсем позабыл. Самушкин поманил его пальцем, показывая, чтобы Чонкин наклонился, он, Самушкин, ему что-то скажет. Чонкин заколебался. Самушкин опять что-то придумал. Крикнуть в ухо, пожалуй, побоится, старший политрук здесь, а плюнуть может.

– Чего тебе? – шепотом спросил Чонкин.

– Да ты не бойся, – прошептал Самушкин и сам наклонился к чонкинскому уху. – Ты знаешь, что у Сталина было две жены?

– Да ну тебя, – отмахнулся Чонкин.

– Верно тебе говорю. Две жены.

– Хватит болтать, – сказал Чонкин.

– Не веришь – спроси у старшего политрука.

– Да зачем мне это нужно? – упрямылся Чонкин.

– Спроси, будь другом. Я спросил бы, но мне неудобно, я прошлый раз задавал много вопросов.

По лицу Самушкина было видно, что ему очень важно, чтобы Чонкин оказал ему эту пустяковую, в сущности, услугу. И Чонкин, будучи человеком добрым, не умеющим никому и ни в чем отказывать, сдался.

Балашов все еще читал свой конспект. Старший политрук его слушал рассеянно, зная, что Балашов – боец аккуратный, наверняка переписал в конспект все слово в слово из учебника и никаких неожиданностей в его ответе быть не может. Но времени оставалось мало, надо было спросить других, и Ярцев прервал Балашова.

– Спасибо, товарищ Балашов, – сказал он. – У меня к вам еще вопрос: почему наша армия считается народной?

– Потому что она служит народу, – ответил Балашов не задумываясь.

– Правильно. А кому служат армии капиталистических стран?

– Кучке капиталистов.

– Правильно. – Ярцев был очень доволен. – Я с удовольствием прослушал ваш ответ. Вы правильно мыслите, делаете из пройденного материала верные выводы. Я ставлю вам «отлично» и буду просить командира батальона объявить вам благодарность с занесением в личное дело.

– Служу трудовому народу, – тихо сказал Балашов.

– Садитесь, товарищ Балашов. – И своими узкими пронизательными глазами старший политрук осмотрел сидевших перед ним бойцов. – Кто хочет дальше развить мысль предыдущего оратора?

Чонкин дернул рукой. Ярцев заметил.

– Товарищ Чонкин, как прикажете истолковать ваш выразительный жест? Может быть, вы опять боретесь с жуком?

Чонкин встал.

– Вопрос, товарищ старший политрук.

– Пожалуйста. – Политрук расплылся в широкой улыбке, всем своим видом показывая, что, конечно, Чонкин может задать только очень простой вопрос и, может быть, даже глупый, но он, Ярцев, обязан снижаться до уровня каждого бойца и разъяснить непонятное. И он ошибся. Вопрос, может быть, был глупый, но не такой простой.

– А правда, – спросил Чонкин, – что у товарища Сталина было две жены?

Ярцев вскочил на ноги с такой поспешностью, как будто ему в одно место воткнули шило.

– Что?! – закричал он, трясаясь от ярости и испуга. – Вы что говорите? Вы меня в это дело не впутывайте. – Он тут же спохватился, что сказал что-то не то, и остановился.

Чонкин растерянно хлопал глазами. Он никак не мог понять, чем вызвана такая ярость старшего политрука. Он пытался объяснить свое поведение.

– Я, товарищ старший политрук, ничего, – сказал он. – Я только хотел спросить... Мне говорили, что у товарища Сталина...

– Кто вам говорил? – закричал Ярцев не своим голосом. – Кто, я вас спрашиваю? С чужого голоса поете, Чонкин!

Чонкин беспомощно оглянулся на Самушкина, тот спокойно перелистывал «Краткий курс истории ВКП(б)», словно все происходившее не имело к нему абсолютно никакого отношения. Чонкин понял, что, если сослаться на Самушкина, тот откажется не моргнув глазом. И хотя Чонкин никак не мог взять в толк, чем именно вызван такой невероятный гнев старшего политрука, ему было ясно, что Самушкин его опять подвел, может быть, даже больше, чем в тот раз, когда устроил «велосипед».

А старший политрук, начав кричать, никак не мог остановиться, он крестил Чонкина почем зря, говоря, что вот, мол, к чему приводит политическая незрелость и потеря бдительности, что такие, как Чонкин, очень ценная находка для наших врагов, которые только и ищут малейшую щель, куда, не гнушаясь никакими средствами, можно пролезть со своими происками, что такие, как Чонкин, позорят не только свое подразделение и свою часть, но и всю Красную Армию в целом.

Трудно сказать, чем кончился бы монолог Ярцева, если бы его не прервал дневальный Алимов. Видно, Алимов бежал от самого городка, потому что долго не мог перевести дух и, приложив руку к пилотке, тяжело дышал, молча глядя на Ярцева. Его появление сбило Ярцева с мысли, и он спросил раздраженно:

– Что вам?

– Товарищ старший политрук, разрешите обратиться. – Алимов кое-как отдышался.

– Обращайтесь, – устало сказал Ярцев, опускаясь на пень.

– Рядового Чонкина по приказанию командира батальона вызывают в казарму.

Этому обстоятельству были рады и Чонкин и Ярцев. Отвязывая лошадь, Чонкин ругал себя, что черт дернул его за язык, может быть, первый раз за всю службу задал вопрос, и на тебе – такая неприятность. И он твердо решил, что теперь никогда в жизни не будет задавать никаких вопросов, а то еще влипнешь в такую историю, что не выпутаешься.

5

Старшина Песков сидел у себя в каптерке и суровой ниткой резал мыло, готовясь к предстоящему его роте банному дню. В это время его позвали к телефону, и комбат Пахомов приказал немедленно разыскать Чонкина, выдать ему оружие, продпаяк на неделю и подготовить к длительному несению караульной службы.

Какой именно службы и почему длительной, старшина не понял, но сказал: «Есть!» – потому что привык выполнять приказания беспрекословно, согласно уставу. Каптенармуса Трофимовича, который помогал ему резать мыло, он послал на продсклад, а дневального Алимова отправил разыскивать Чонкина. После этого нарезал остальное мыло, вытер руки о полотенце и сел писать письмо своей невесте, которая жила в городе Котласе.

После срочной службы старшина прослужил еще два года, теперь хотел опять продлить срок, но невеста этого не одобряла. Она считала, что женатому человеку лучше работать где-нибудь на заводе, чем служить в армии. Старшина Песков с этим был не согласен, он писал: «А еще, Люба, вы пишете, что гражданская жизнь лучше, чем военная, вы, Люба, имеете об этом неправильное понятие, потому что для каждого воина Красной Армии есть главное: переносить все тяготы и лишения воинской службы. А также воспитание подчиненных. Вы знаете, что наша страна со всех четырех сторон находится в капиталистическом окружении и враги только и метят на то, чтобы задушить Советскую страну, а наших жен и детей угнать в рабство. Поэтому в Красную Армию ежегодно призываются на военную службу молодые воины, дети рабочих и трудового крестьянства. И мы, закаленные воины, должны передавать им свой боевой опыт и воинское мастерство в деле воспитания молодого поколения. Но вопрос этот очень серьезный, к людям надо проявлять ежедневную строгость, потому что ты с ними будешь по-хорошему, а они к тебе обернутся свиньей. Возьмем, к примеру, простую семью. Если не будешь воспитывать ребенка в строгости, с ремешком, то он вырастет жулик или хулиган, а дети, Люба, цель нашей жизни. А если не иметь цели, то можно повеситься или застрелиться (вот вам пример: Маяковский, Есенин)».

Старшина поставил точку, обмакнул перо в чернила и стал обдумывать следующую фразу. Он хотел как-то связать воедино вопросы семьи и брака и обороноспособности государства, но как именно сделать это, еще не знал, и тут его сбили с толку – кто-то постучался в дверь.

– Войдите, – разрешил старшина.

Вошел Чонкин. Он был так огорчен своей оплошностью на политзанятиях, что даже забыл, что нужно о своем прибытии доложить по-уставному, и спросил просто:

– Звали, товарищ старшина?

– Не звал, а приказал явиться, – поправил старшина. – Выйдите и доложите как положено. Чонкин повернулся к дверям.

– Отставить! – сказал старшина. – Как нужно поворачиваться кругом?

Чонкин постарался сделать все как надо, но опять перепутал и повернулся через правое плечо. Только с третьего раза у него получился поворот более или менее гладко, после чего старшина наконец снизошел к нему, разрешил выйти и, вернувшись, доложить о прибытии. Потом сунул ему в руки устав караульной и гарнизонной службы и отправил в казарму учить обязанности часового. А сам остался дописывать письмо, наполняя его новыми, возникшими в результате общения с Чонкиным мыслями:

«Вот, Люба, к примеру, у вас на заводе работает инженер с высшим образованием и имеет в своем подчинении 10–12 чел. Он может приказать им что-нибудь только по работе, а после работы или во время выходного дня они ему уже не подчиняются и могут делать что хотят, как говорится, ты сам по себе, а я сам по себе. У нас такого положения быть не может. У меня

в роте 97 красноармейцев и младшего комсостава. Я могу им в любое время отдать любое приказание, и они выполнят его беспрекословно, точно и в срок, согласно уставу и воинской дисциплине, хотя я имею образование 5 кл.».

На этом месте его опять оборвали. Дверь отворилась, в каптерку кто-то вошел. Думая, что это Чонкин, старшина, не повернув головы, сказал:

– Выйди, постучись и войди снова.

Ему ответили:

– Я тебе постучусь.

Старшина волчком развернулся на табурете, одновременно вытягиваясь, потому что увидел перед собой подполковника Пахомова.

– Товарищ подполковник, за время вашего отсутствия в роте никаких происшествий... – начал было он, приложив руку к пилотке, но подполковник его перебил:

– Где Чонкин?

– Отправлен для изучения устава караульной и гарнизонной службы, – четко отрапортовал старшина.

– Куда отправлен? – не понял Пахомов.

– В казарму, товарищ подполковник, – отчеканил Песков.

– Ты что – сумасшедший? – заорал на него подполковник. – Его самолет ждет, а ты тут будешь с ним уставами заниматься. Я тебе по телефону что говорил? Немедленно позвать Чонкина и подготовить к отправке.

– Есть, товарищ, подполковник! – Старшина кинулся к дверям.

– Погоди. Сухой паек получили?

– Трофимович пошел, и все нету. Может, с кладовщиком разговаривает.

– Я вот ему поразговариваю. Тащить его сюда вместе с продуктами!

– Сейчас я пошлю дневального, – сказал старшина.

– Отставить дневального! – сказал Пахомов. – Не дневального, а сам, и бегом! Погоди. Даю тебе пять минут. За каждую лишнюю минуту – сутки ареста. Понял? Бегом!

Со старшиной подполковник разговаривал совсем не так, как час назад с командиром полка. Но и разговор старшины с Чонкиным был мало похож на его разговор с подполковником. Что касается Чонкина, то он мог в таком духе разговаривать разве что с лошадей, потому что она по своему положению была еще ниже его. А уже ниже лошади никого не было.

Выскочив на улицу, старшина поглядел на свои карманные часы, засек время и пошел было шагом, но потом, оглянувшись и увидев, что подполковник Пахомов следит за ним в окно, побежал.

Бежать надо было метров четыреста – в противоположный конец городка. На этом пути не было ни одного строения, за которым можно было бы укрыться и тайком от комбата передохнуть, и старшина Песков чувствовал себя как на пристрелянной местности. Ему было двадцать пять лет, но за два года сверхсрочной службы он бегал только один раз, и то по тревоге, когда уклониться от беганья не было никакой возможности. Отвычка от этого занятия давала себя знать, да и жара, надо сказать, стояла немалая.

На продуктовом складе было, как всегда, полутемно и прохладно. Редкие солнечные лучи, пробиваясь сквозь дыры в стене и в крыше, пронизывали помещение, вырывая из полутьмы какие-то ящики, бочки, мешки и говяжьи туши, подвешенные к перекладине поперек склада. У полуоткрытых дверей сидел кладовщик Дудник и, подперев подбородок рукой, дремал, разомлев от жары. Стоило ему заснуть, как подбородок соскальзывал с потной ладони. Дудник ударялся подбородком об стол, открывал глаза, смотрел на стол подозрительно и враждебно, но не в силах устоять перед соблазном, снова подводил руку под подбородок.

Высунув язык, влетел на склад старшина Песков. Он опустил рядом с Дудником на ящик из-под крупы и спросил:

– Ты Трофимовича не видел?

Дудник снова трахнулся об стол и осоловело посмотрел на Пескова.

– Чего?

Старшина посмотрел с уважением на подбородок Дудника, который выдерживает такие удары.

– Зубы целы? – спросил он.

– Зубы-то ничего, – сказал Дудник, встряхивая головой и зевая. – Я вот боюсь – стол придется в ремонт отдавать. Кого ты спрашивал?

– Трофимович здесь был?

– А-а, Трофимович. Трофимович был, – сказал Дудник, закрывая глаза и снова подставляя руку под подбородок.

– погоди ты спать. – Старшина потряс его за плечо. – Куда он пошел?

Не открывая глаз, Дудник махнул свободной рукой в сторону дверей:

– Туда.

Поняв, что толку от Дудника не добиться, старшина вышел наружу и остановился в раздумье. Куда идти? Он перебрал в уме все места, где мог бы быть Трофимович, но тот мог быть где угодно, и придумать сейчас что-нибудь более или менее вероятное старшине было не так-то просто. Он вынул карманные часы и посмотрел на них. С момента получения им приказа шла шестая минута. Старшина вздохнул. Он знал, что подполковник Пахомов слов на ветер никогда не бросает. И Песков вдруг только сейчас понял, что происходит, вероятно, что-то сверхважное, раз Чонкина отправляют куда-то на самолете. Может быть, сам Чонкин вдруг стал очень важным? Его, старшину Пескова, ни разу не возили на самолете. Мысль о важности происходящего заставила его мозг работать продуктивней, старшина еще раз прикинул, где именно мог прятаться Трофимович, и, уже не колеблясь, бросился к военторговскому магазину.

Песков не ошибся. Трофимович стоял в пустом магазине рядом с продавщицей Тосей и рассказывал ей содержание фильма «Сердца четырех». На полу у его ног лежал вещмешок с сухим пайком для Чонкина.

Через минуту после этого подполковник Пахомов, выглянув в окно, увидел такую картину: по тропинке в сторону казармы, с вещмешком на плече, мелко подпрыгивал Трофимович; сзади, подталкивая его кулаком в спину, бежал старшина Песков.

К вечеру того же дня, сидя в отдельной камере батальонной гауптвахты, старшина Песков продолжал письмо своей невесте из города Котласа.

«А вообще, Люба, – писал он, – жизнь армейская, конечно, не сахар. Это же есть такие люди, которые пользуются своим положением не для укрепления воинской дисциплины, а совсем обратное, с целью, чтобы издеваться над своим подчиненным. И конечно, в гражданской жизни такого положения не бывает, потому что там каждый человек, отработав свои восемь часов на производстве, считает себя уже свободным, и если какой инженер или мастер прикажет ему что-нибудь, так он может послать его куда подальше, и правильно сделает».

6

Вот уж правда, жизнь человека полна неожиданностей. Если бы в этот день все текло по намеченному плану, то Чонкин после политзанятий должен был привезти на кухню дрова, потом – обед, потом – сон, после сна – баня. В бане обещали выдать новое обмундирование. (Чонкин уже рассчитывал отложить это обмундирование и две пары новых портянок на случай предстоящей демобилизации.) После бани – опять на конюшню, на склад за продуктами для ужина, потом вечером на открытой площадке – концерт художественной самодеятельности.

И вдруг – трах-бах – вызвали в казарму, выдали винтовку, скатку, вещмешок, усадили в самолет, и через каких-нибудь полтора часа Чонкин был уже черт-те где, в какой-то деревне, о которой он до этого никогда не слыхал и не подозревал, что она существует на свете.

Его еще мучило от только что перенесенного первый раз в жизни полета, а летчики (тот, который его сюда привез, и другой, который был здесь) зачехлили поломанный самолет, привязали его к земле, сели в исправный и улетели, как будто их здесь и не было, а Чонкин остался лицом к лицу с самолетом и толпой, окружавшей его. Но и толпа постепенно рассосалась, предоставив Чонкина самому себе.

Оставшись один, он обошел вокруг самолета, подергал элероны и руль поворота, ударил ногой по колесу. И сплюнул. Зачем его охранять, от кого охранять и сколько времени – неизвестно. Подполковник Пахомов сказал – может, неделю, а может, и больше. За неделю можно с тоски подохнуть. Раньше, бывало, хоть с лошастью поговоришь, и то дело. Он вообще любил разговаривать с лошастью, больше даже, чем с людьми, потому что человеку скажешь что-нибудь, да не то, еще и неприятностей наберешь на свою шею, а лошадь, ей чего ни скажи, все принимает. Чонкин с ней беседовал, советовался, рассказывал про свою жизнь, про старшину, жаловался на Самушкина и на повара Шурку, лошадь понимала чего или не понимала, а махала хвостом, кивала головой – реагировала. А с этим драндулетом разве поговоришь? Он же неодушевленный. Чонкин еще раз сплюнул и прошел от носа к хвосту и от хвоста опять к носу. Огляделся.

Здесьняя природа не нравилась ему совершенно. В трех сотнях шагов от него сквозь кусты ивняка свинцово блестящая речка со странным названием Тёпа. Чонкин не знал, что она так называется, но все равно было противно. Чахлый лесок, который тянулся ниже по течению Тёпы, Чонкину не нравился еще больше, а уж обо всем остальном пространстве и говорить нечего. Земля была голая, бугристая и с камнями, деревня бедная. Два дома обиты тесом, остальные – из потемневших бревен, наполовину вросшие в землю, крытые какой – дранью, какой – соломой.

Пусто в деревне. Сколько ни смотри, не увидишь человека живого. И ничего удивительного в этом нет – все на работе. А кто не на работе, прячутся от жары по избам. Только пегий теленок, видно, отбил от стада, лежит посреди дороги, высунув язык от жары.

Какой-то человек проехал на велосипеде по берегу речки с граблями, привязанными за спиной.

– Эг-ге-эй! – прокричал ему Чонкин, но тот не остановился, не обернулся, видать, не слыхал.

Иван пристроил вещмешок на крыле самолета, развязал посмотреть, что там ему положили. В мешке лежали две буханки хлеба, банка мясных консервов, банка рыбных, банка концентратов, кусок колбасы, твердой, как дерево, и несколько кусков сахара, завернутых в газету. На неделю, конечно, негусто. Знать бы заранее, спер бы чего-нибудь в летной столовой, а теперь что ж...

Прошел Чонкин опять вдоль самолета. Несколько шагов туда, несколько шагов обратно. Вообще, конечно, есть в его положении и приятное. Сейчас он не просто Чонкин, к которому

можно запросто подойти, хлопнуть по плечу, сказать: «Эй, ты, Чонкин» – или, например, плюнуть в ухо. Сейчас он часовой – лицо неприкосновенное. И прежде чем плюнуть в ухо, пожалуй, подумаешь. Чуть что – «Стой! Кто идет?», «Стой! Стрелять буду!» Дело серьезное.

Но если посмотреть на это дело с другой стороны...

Чонкин остановился и, прислонившись к крылу, задумался. Оставили его здесь одного на неделю без всякой подмены. А дальше что? По уставу часовому запрещается есть, пить, курить, смеяться, петь, разговаривать, отправлять естественные надобности. Но ведь стоять-то неделю! За неделю этот устав хочешь не хочешь – нарушишь! Придя к такой мысли, он отошел к хвосту самолета и тут же нарушил. Оглянулся вокруг – ничего.

Запел песню:

Скакал казак через долину,
Через кавказские края...

Это была единственная песня, которую он знал до конца. Песня была простая. Каждые две строчки повторялись:

Скакал он садиком зеленым,
Кольцо блестело на руке...
Скакал он садиком зеленым,
Кольцо блестело на руке...

Чонкин помолчал и прислушался. Опять ничего! Хоть пой, хоть тресни, никому ты не нужен. Ему вдруг стало тоскливей прежнего, и он ощутил настоятельную потребность поговорить хоть с кем-нибудь, хоть о чем-нибудь.

Оглядевшись, он увидел телегу, которая пылила по дороге в сторону деревни. Чонкин приставил ладонь козырьком, взгляделся: в телеге баб человек десять, сидят, свесив ноги за борт, а одна, в красном платье, стоя, лошадьми правит. Увидев это, Чонкин пришел в неопи-суемое волнение, которое становилось тем больше, чем больше приближалась телега. Когда она совсем приблизилась, Чонкин и вовсе засуетился, застегнул воротник и рванул к дороге.

– Эй, девки! – закричал он. – Давай сюда!

Девки зашумели, засмеялись, а та, которая правила лошадьми, прокричала в ответ:

– Всем сразу или через одну?

– Вали кулем, потом разберем! – махнул рукой Чонкин.

Девки зашумели еще больше и замахали руками, вроде бы приглашая Чонкина к себе в телегу, а та, что стояла, крикнула такое, что Чонкин даже оторопел.

– И-их, бабоньки-и! – от избытка чувств взвизгнул он, но его уже никто не мог слышать. Въехав в деревню, телега скрылась за поворотом, и только белая пыль долго еще висела в нагретом воздухе.

Все это подействовало на Чонкина самым приятным образом. Он оперся на винтовку, и вовсе не дозволенные уставом мысли насчет женского пола начали овладевать им. Он по-прежнему все поглядывал вокруг себя, но теперь уже не просто так, не совсем без смысла, теперь он искал нечто совершенно определенное.

И нашел.

В ближайшем от себя огороде он увидел Нюру Беляшову, которая после дневного отдыха снова вышла окучивать картошку. Она мерно махала тяпкой и поворачивалась к Чонкину разными сторонами. Он пригляделся и по достоинству оценил ее крупные формы.

Чонкина сразу к ней потянуло, но он посмотрел на самолет и только вздохнул. И снова стал ходить вдоль самолета. Несколько шагов туда, несколько шагов обратно. Но «туда» шагов

почему-то получалось все больше, а обратно все меньше, и в конце концов он уткнулся грудью в забор из длинных кривых жердей. Это произошло для него самого настолько неожиданно, что, встретившись с вопросительным Нюриным взглядом, Чонкин понял, что должен объяснить как-то свой поступок, и объяснил его так.

– Попить охота, – сказал он и для убедительности ткнул себя пальцем в живот.

– Это можно, – сказала Нюра, – только вода у меня теплая.

– Хоть какая, – согласился Чонкин.

Нюра положила тяпку в борозду, пошла в дом и тут же вернулась с ковшиком из черного железа. Вода была, правда, теплая, невкусная, она пахла деревянной бочкой. Чонкин отпил немного, а остаток, нагнувшись, выплеснул себе на голову.

– И-эх, хорошо! – сказал он с преувеличенной бодростью. – Верно я говорю?

– Ковшик на сучок повесьте, – ответила Нюра, снова берясь за тяпку.

Встреча с Чонкиным ее тоже взволновала, но она не подала виду и стала работать, ожидая, что он уйдет. А ему уходить не хотелось. Он постоял еще, помолчал и задал вопрос сразу по существу:

– Одна живете или с мужем?

– А вам зачем знать? – спросила Нюра.

– Из интересу, – ответил Чонкин.

– Одна или не одна, вас это не касается.

Этот ответ удовлетворил Чонкина. Он означал, что Нюра живет одна, но девичья гордость не позволяет ей отвечать прямо на такие вопросы.

– Может, помочь? – предложил Иван.

– Не надо, – сказала Нюра, – я уж сама.

Но Чонкин уже перекинул через забор винтовку и сам пролез между жердями. Нюра сперва поотнекивалась для приличия, а потом отдала Чонкину свою тяпку, а себе принесла из хлева другую. Вдвоем дело пошло веселее. Чонкин работал легко и быстро, чувствовалось, что не первый раз занимается он этим делом. Нюра сперва пыталась за ним угнаться, но потом, поняв, что попытка эта несостоятельна, безнадежно отстала. Когда они остановились для перекура, она заметила ему с любопытством:

– Сами, видать, деревенские.

– Неужто заметно? – удивился Чонкин.

– Как не заметить, – сказала Нюра, смущенно потупясь. – У нас тут городские были, помогать приезжали. Так иной раз стыдно смотреть. Тяпку в руках держать не умеют. Интересно, чему их там в городах учат?

– Известно чему, – сообразил Чонкин. – Сало деревенское жрать.

– То-то и есть, – согласилась Нюра.

Чонкин поплевал на ладони и принялся опять за работу. Нюра, идя следом, нет-нет да и поглядывала украдкой на нового своего знакомого. Она, конечно, сразу заметила, что и ростом он не очень-то вышел, и лицом не из самых красавцев, но ей при ее затянувшемся одиночестве и такой был хорош. А Чонкин, она приглядела, парень сноровистый и с хваткой, для хозяйства, сразу видно, полезный. И он нравился ей все больше и больше, и в душе ее даже затеплилось что-то похожее на надежду.

7

Нюра была совсем одинока. Более одинокой женщины не было во всей деревне, не считая бабы Дуни, но у той жизнь уже подходила к концу, а Нюре едва исполнилось двадцать два года. Жизнь в самом расцвете, но для замужества возраст, пожалуй, уже и великоват. Другие, кто порасторопней, постарались выскочить до двадцати да уже и детей понарожали (у Нюриной ровесницы Тайки Горшковой зимой третий мальчишка родился). И не обидно, была бы хуже других, а то ведь нет. Ни лицом, ни фигурой бог не обидел, красавицей, может, и не была, но и уродиной никто не считал. Уж на что Нинка Курзова от рождения недостаток имела – пятно в пол-лица, а и та нашла свое счастье, вышла замуж за Кольку и сейчас ходила на четвертом или на пятом месяце.

Не одна Нюра, конечно, в девках сидела, но у других хоть были либо родители, либо братья и сестры, либо еще кто, а у нее – никого. Были два брата старших – она их не помнила. Один трех лет от роду во время пожара сгорел, другой, побольше, от сыпного тифа помер.

Мать Нюры померла четыре года назад. До этого два года жаловалась на поясницу – все ее что-то ломало да горбило, от застуды ли, от тяжелой ли работы – кто его знает. Может, ей полежать надо было, отдохнуть, да как лежишь, когда бригадир каждое утро чуть не силком на улицу выволакивает – надо работать. И свое хозяйство тоже – большое ли, малое, а дело всегда найдется. К фельдшеру сходить, а он за семь верст, в Долгове. Семь верст туда да семь обратно. А лечение у него одно: на ночь ноги в горячей воде попарь и под ватное одеяло. К утру, мол, пройдет. Освобождения, если жару нет, не добьешься. Если, мол, всем освобождение давать, кто тогда будет работать?

Когда матери совсем худо стало и она начала криком кричать, отец пошел к председателю (тогда еще другой был, не Голубев) лошадь просить, а тот говорит: «Специально дать не могу, а как будет попутная – пожалуйста». Когда попутная оказалась, она уж была ни к чему. Кладбище красновское было рядом, за огородами, и покойницу отнесли туда на руках.

Отец Нюры пожил еще год в Красном, а потом, дуриком получив паспорт, подался в город на заработки. Работал там разнорабочим на строительстве электростанции, потом перешел в милицию, и односельчане, возившие продавать колхозные овощи, много раз видели его на рынке – ходил в форме и с револьвером, гонял спекулянтов. Сперва он Нюре хоть изредка писал письма, а потом женился, у него родился ребенок, писал он все реже, а потом и совсем перестал, только изредка передавал приветы через знакомых.

С замужеством у нее ничего не вышло, может быть, еще и потому, что была от рождения робкого характера, не могла собою увлечь, и один ухажер бросил ее за то, что была слишком молчалива, другому показалась чересчур разговорчивой, третий добивался от нее, чтобы согласилась на то, чего домогался он до расписки, и обиделся, что она ему не поверила, четвертому поверила, так он посчитал, что слишком легко согласилась.

А женихов-то и сразу было немного, а чем дальше, тем меньше их становилось, таяли, как снег на ладони. Кто женился, кто ушел в армию и не вернулся, а для тех, которые подрастали, своих девчонок хватало. Так вот и получилось, что Нюра осталась одна.

Одиночество наложило особый отпечаток на ее жизнь. Взять хотя бы ее отношения со скотиной. У других, скажем, корова – это корова. Ее кормят, доят, выгоняют в стадо, и все. А Нюра за своей коровой ухаживала, чистила ее, выбирала из шкуры колючки. И разговаривала с ней ласково, как с человеком, и делилась, если было что-нибудь вкусное (когда кусок сахара даст, когда пирожок), потому и корова к ней относилась тоже как человек к человеку. Стадо в деревню пригонят, она от всех оторвется и бежит со всех ног бегом к дому – соскучилась, значит. И играет с хозяйкой. Так ее рогом подденет, будто всерьез, а на самом деле легонько,

шутя. Но если заметит, что кто-нибудь хочет Нюру обидеть, то тут уже не играет, а глаза кровью нальет, голову опустит и идет на обидчика – берегись!

А кабан Борька, тот и вовсе бегал за Нюрой, как собака. Нюра около двух лет назад взяла его в колхозе маленьким трехдневным поросенком, рассчитывая со временем зарезать. А поросенок попался чахленький, много болел. Нюра за ним тоже ухаживала, как за ребеночком. Кормила из соски молоком, клала на живот грелку, купала в корыте с мылом, повязывала платочком и укладывала с собой в постель. Выходила, а когда он подрос, не решилась зарезать. Так он и жил у нее вместо собаки, худой, грязный, носился по двору, гонял кур, провожал Нюру, когда она шла на почту, и встречал, когда возвращалась. А уж визгу-то было и радости, когда она возвращалась, на всю деревню.

Даже куры были у нее не такие, как у других. Сядет Нюра на крылечке, а они уже тут как тут. Которая на плечо заберется, которая – на голову, и сидят, как на насесте, не шелохнутся. И Нюра не шевелится, боится спугнуть. В деревне из-за этого над Нюрой многие посмеивались, а она и не обижалась, но думала, что, попади ей какой-нибудь человек, пусть хоть некрасивый и не очень умный, лишь бы хороший и к ней бы хорошо относился, а уж она тоже не осталась бы в долгу, раскрылась бы перед ним всей душой. И вот сейчас впереди нее шел по борозде, взмахивая тяпкой, маленького роста человек в военной форме, с красными ушами, торчащими из-под пилотки. Кто он, этот человек, чего хочет? Может, только время провести от скуки, а может, и нет, кто его знает. Сразу не угадаешь.

Летний день какой ни длинный, а и он подошел к концу. Заметно стало движение воздуха, потянуло от речки Тёпы прохладой, большое красное солнце, перерезанное надвое перистым облачком, коснулось краем дымного горизонта. Замычала на другом конце деревни скотина, и Нюра, оставив Чонкина на огороде, побежала встречать свою Красавку. По дороге сошлась с Нинкой Курзовой, она шла с длинным прутком, тоже встречала корову. Пошли рядом.

– Ну как, картошку окучила? – спросила Нинка явно с ехидцей, уж вся деревня, конечно, обратила внимание, что Нюра на огороде работала не одна.

– Еще немного осталось, – сказала Нюра.

– Теперь-то с помощником легче, – подмигнула Нинка.

– Да уж, конечно, в четыре-то руки, – сказала Нюра и покраснела.

– Парень хоть хороший? – деловито осведомилась Нинка.

– Да кто его знает. – Нюра пожала плечами. – С первого разу нешто разберешь. Росточку маленького, но так, видать, работающий. Как пошел с тяпкой вдоль борозды, так я за ним угнаться никак не могу.

– Ну-ну, – одобрила Нинка. – А звать-то как?

– Иваном, – гордо поведала Нюра, как будто имя было особенное.

– Холостой?

– А я и не спросила.

– Зря. Сразу спрашивать надо.

– Да вроде неудобно сразу-то.

– Напрямки неудобно, – убежденно ответила Нинка, – а так, вроде к слову, можно. Хотя все равно совет.

– А на что ему врать?

– Как не врать, – сказала Нинка. – Вся наша жизнь состоит из того, что мужики врут, а бабы верят. А этот еще и военный. Ему лишь бы время провести, да и все. А ты его так попытай, а еще постарайся и в документ заглянуть, хотя в ихних документах тож ничего может не быть, это не паспорт.

– Выходит, безвыходное положение? – спросила Нюра.

– Выходит, так.

– А я ему почему-то верю, – сказала Нюра. – Не похоже, чтоб врал.

– Если веришь, дело твое, – равнодушно сказала Нинка, – но я б на твоём месте его раньше время до себя не допускала.

– А кто ж допускает? – смутилась Нюра.

– А я не говорю, что допускаешь, а можешь допустить. А они, мужики, да ещё военные, у их привычка такая – своё дело справит, а потом над тобой же и посмеется.

Тут Нинка отскочила к забору, потому что на дороге показалась Красавка, которая галопом неслась по деревне, а за ней, не отставая, бежала маленькая собачонка и отчаянно тявкала. Красавка неслась прямо на Нюру с такой скоростью, что казалось, никакая сила её теперь не остановит, но перед самой Нюрой остановилась как вкопанная.

– Вот сатана какая, – испуганно сказала Нинка. – Гляди, Нюрка, кабы не вздела она тебя на рога.

– Ничего, меня не взденет, – сказала Нюра уверенно и почесала Красавке лоб между рогами. Та запыхалась от быстрого бега и дышала шумно, широко раздувая ноздри.

– А моей заразы что-то не видать, – сказала Нинка. – Побегу, как бы в огород к кому не залезла. Заходи болтаться, – как всегда, пригласила она. – Песни попоем, посмеемся.

И пошла дальше, помахивая хворостиной.

На обратном пути Нюра забежала к бабе Дуне и купила у неё поллитровочку самогону. Она боялась, что баба Дуня начнет расспрашивать, для чего самогон, и придумала сказать, что будто должен приехать отец. Но баба Дуня сама уже напробовалась своего зелья до того, что ей все было неинтересно.

Когда Нюра подоила корову и вышла на крыльцо, Чонкин закончил уже последнюю грядку и сидел на траве, курил.

– Устали? – спросила Нюра.

– Плевать, – сказал Чонкин. – Мне эта работа только для развлечения.

– Я там на стол собрала, – преодолев в себе робость, сказала Нюра.

– На стол? – У Чонкина загорелись глаза, но он тут же вспомнил о своём положении и только вздохнул. – Нельзя мне. С сожалением бы, но нельзя. У меня вон стоит. – С досадой он махнул рукой в сторону самолета.

– Да, господи, кто его тронет! – горячо сказала Нюра. – У нас тут такой народ живет – избы не запирают.

– Неужто не запирают? – спросил Чонкин с надеждой. – И что ж, ни разу не бывало таких случаев, чтобы кто-нибудь чего-нибудь?..

– Да что вы, – сказала Нюра. – Я вот за всю жизнь и не припомню такого. Это вот ещё когда я совсем маленькая была, ещё до колхоза, у Степана Лукова, вон он там живет, за конторой, лошадь пропала, так и то думали – цыгане, а потом нашли её, переплыла на тот берег.

– Ну, а если пацаны там захотят чего отвернуть? – постепенно сдавался Чонкин.

– Пацаны уже спать легли, – сказала Нюра.

– Ну ладно, – решился Иван, – минут на десять, пожалуй, зайду.

Он взял свою винтовку, Нюра собрала тяпки. В первой половине избы чисто убрано. На широком столе стояла бутылка, заткнутая тряпичей, два стакана и две тарелки – одна с вареной картошкой, другая с солеными огурцами. Чонкин сразу оценил, что не хватает мясного, и, оставив винтовку в избе, сбегал к самолету за вещмешком. Колбасу Нюра тут же крупно порезала, а консервы вскрывать не стали, не хотелось возиться.

Чонкина Нюра усадила на лавку к стене, а сама села напротив на табуретку. Чонкин разлил самогон – себе полный стакан, Нюре – половину, больше она не разрешила. Чонкин поднял свой стакан и произнес тост:

– Со встречей!

После второго стакана Чонкина развезло. Он растянулся гимнастерку, снял ремень и сидел, привалившись спиной к стене, и о самолете больше не думал. В наступивших сумерках, как

в тумане, перед ним плавало лицо Нюры, то раздваиваясь, то вновь собираясь в единое целое. Чонкин чувствовал себя весело, легко и свободно. Непослушным движением пальца он пома-
нил к себе Нюру и сказал ей:

- Поди сюда.
- А зачем? – спросила Нюра.
- Просто так.
- Просто так можно и через стол говорить, – сопротивлялась она.
- Ну иди, – жалобно сказал он, – я ж тебя не укушу.
- Ни к чему все это, – сказала Нюра и, обойдя стол, села слева от Чонкина на некотором

расстоянии.

Они помолчали. На противоположной стене громко стучали старые ходики, но их в тем-
ноте не было видно. Время шло к ночи. Чонкин глубоко вздохнул и придвинулся к Нюре. Нюра
вздохнула еще глубже и отодвинулась. Чонкин снова вздохнул и придвинулся. Нюра снова
вздохнула и отодвинулась. Скоро она очутилась на самом краю лавки. Двигаться дальше было
опасно.

- Чтой-то холодно стало, – сказал Чонкин, кладя левую руку ей на плечо.
- Да не так уж и холодно, – возразила Нюра, пытаясь сбросить его руку с плеча.
- Чтой-то руки замерзли, – сказал он и правой полез к Нюре за пазуху.
- А вы вообще-то всегда на эроплане летаете? – спросила она, предпринимая последнюю

отчаянную попытку освободиться.

– Всегда, – сказал он, просовывая руку у нее под мышкой за спину, чтобы расстегнуть
лифчик.

8

Был не то день, не то вечер, не то свет, не то сумерки. Чонкин проснулся оттого, что почувствовал – кто-то угоняет его самолет. Он вскочил с постели, на которой рядом с ним никого не было, и выбежал на крыльцо. Тут он увидел Самушкина, который торопливо запрягал в самолет белую лошадь, похожую на Чалого. «Ты что делаешь?» – закричал Чонкин, но Самушкин, ничего не ответив, быстро вскочил в кабину и хлестнул лошадь концами вожжей. Лошадь подпрыгнула и, перебирая ногами, легко полетела над самой землей, а за ней над самой землей полетел самолет. На нижнем крыле, свесив ноги, сидели те самые девки, которые днем проезжали мимо Чонкина в телеге, среди них сидела и Нюра, она махала ему тяпкой, чтобы он догонял. Чонкин побежал за самолетом, и казалось, вот-вот догонит, но самолет ускользал от него, а бежать было все труднее, мешали перекинутая через плечо скатка и винтовка, которую он держал в руке. Он подумал, что винтовка ему совершенно не нужна, потому что старшина забыл выдать патроны, и, бросив винтовку, побежал гораздо быстрее. Вот он уже почти настиг самолет и хотел ухватиться за протянутую Нюрой тяпку, как вдруг вырос перед ним старшина и грозно спросил: «Ты почему не приветствуешь?» Он на минутку остановился перед старшиной, не зная, то ли отвечать ему, то ли дальше гнаться за самолетом, а старшина опять закричал: «А ну-ка пройди мимо столба и десять раз поприветствуй его!» Чонкин стал торопливо озираться, чтобы побыстрее выполнить приказание старшины, пока самолет еще не улетел далеко, но столба нигде не было видно.

«Значит, ты не видишь этот столб!» – закричал старшина. – А вот я тебе глаз сейчас выну, тогда ты у меня все увидишь, что нужно!» С этими словами старшина подошел к нему, вынул правый глаз, протянул вперед, в пространство, и этим вынутым глазом Чонкин действительно увидел перед собой растресканный столб, на котором горела лампочка. Он еще подумал – зачем она, интересно, горит, если и без нее свету достаточно? Он взял у старшины собственный глаз и пошел по направлению к столбу, но вспомнил про самолет и оглянулся.

Самолет был тут же, за его спиной. Он неподвижно парил в воздухе над самой землей, а лошадь беспомощно перебирала ногами, но не могла сдвинуться с места. «Надо бы ее подкопать», – подумал он и увидел старшего политрука Ярцева, который вышел из-за горы и манил его пальцем. Чонкин оглянулся на старшину, чтобы спросить у него разрешение, но старшина был уже занят другим: он скакал верхом на каптенармусе Трофимовиче по какому-то укатанному кругу, а посреди круга стоял подполковник Пахомов и стегал длинным бичом то одного, то другого.

Когда Чонкин подошел к Ярцеву, тот наклонился к самому его уху, а Чонкин испугался и закрыл ухо ладонью. «Не бойся, не плюнет», – сказал сзади Самушкин. Иван убрал руку. Ярцев тут же превратился в жука и залез к нему в ухо. Чонкину стало щекотно, он хотел вытряхнуть Ярцева, но тот тихо сказал: «Не волнуйтесь, товарищ Чонкин, вы – лицо неприкосновенное, и я вам сделать ничего не могу. Мне поручено сообщить вам, что у товарища Сталина никаких жен не было, потому что он сам – женщина».

Сказав это, Ярцев опять превратился в человека, спрыгнул на землю и ушел за гору.

Тут с неба медленно опустился товарищ Сталин. Он был в женском платье, с усами и с трубкой в зубах. В руках он держал винтовку.

– Это твоя винтовка? – строго спросил он с легким грузинским акцентом.

– Моя, – пробормотал Чонкин заплетающимся языком и протянул руку к винтовке, но товарищ Сталин отстранился и сказал:

– А где старшина?

Подлетел старшина верхом на Трофимовиче. Трофимович нетерпеливо рыл землю копытом, пытаясь сбросить с себя старшину, но тот крепко держал его за уши.

– Товарищ старшина, – сказал Сталин, – рядовой Чонкин покинул свой пост, потеряв при этом боевое оружие. Нашей Красной Армии такие бойцы не нужны. Я советую расстрелять товарища Чонкина.

Старшина медленно слез с Трофимовича, взял у товарища Сталина винтовку и приказал Чонкину:

– Ложись!

Чонкин лег. Под ним была пыль, топкая пыль, которая его засасывала, лезла в рот, в уши, в глаза. Он пытался разгрести пыль руками, ждал команды «отставить», но команды не было, и он проваливался все глубже и глубже. Тут его затылка коснулось что-то холодное, он понял, что это ствол винтовки, что сейчас грянет выстрел...

...Он проснулся в холодном поту. Рядом с ним, прислонившись к его плечу, спала какая-то женщина, он не сразу вспомнил, кто эта женщина и как они очутились в одной постели. Только увидев свою винтовку, спокойно висевшую на вешалке для верхней одежды, все вспомнил, соскочил на холодный пол и, наступая на завязки кальсон, кинулся к окну. За окном светало. Самолет стоял на прежнем месте, его большие нелепые крылья резко чернели на фоне просветлевшего неба. Чонкин облегченно вздохнул и, оглянувшись, встретился с Нюриным взглядом. Нюра хотела закрыть глаза, но не успела, теперь не смотреть было глупо, а смотреть – стыдно. И стыдно было, что рука ее, пухлая, белая, голая до плеча, лежит поверх одеяла. Нюра медленно потянула руку вбок, чтобы спрятать, и при этом улыбнулась смущенно. Чонкин тоже смутился, но, не желая этого показывать и не зная, что делать, шагнул к Нюре, взял ее руку в свою, потряс легонько и сказал:

– Здравствуйте.

В то утро бабы, выгонявшие в поле скотину, видели, как из дома Нюры босой и без гимнастерки вышел Чонкин. Подойдя к самолету, он долго отвязывал его, потом разобрал часть забора, вкатил самолет в огород, а забор снова заложил жердями.

9

Отличительной чертой председателя Голубева была неодолимая склонность к сомнениям. Когда жена утром спрашивала его:

– Что будешь есть – яичницу или картошку?

Он отвечал:

– Давай картошку.

Она доставала из печи чугунок с картошкой, и в эту секунду он знал совершенно определенно, что хочет яичницу. Жена запихивала чугунок обратно и шла в сени за яйцами. Возвращаясь, встречалась с виноватым взглядом мужа – он снова хотел картошку.

Иногда он даже сердился:

– Давай что-нибудь одно, не заставляй меня думать про глупости.

Право на выбор его всегда тяготило. Он невыносимо мучился, когда раздумывал, какую сегодня надеть рубашку – зеленую или синюю, какие сапоги – старые или новые. Правда, за последние двадцать с лишним лет в стране было много сделано для того, чтобы Голубев не сомневался, но какие-то сомнения у него все-таки оставались и распространялись порой даже на такие вещи, в которых вообще сомневаться в то время было не принято. И не зря второй секретарь райкома Борисов говорил иногда Голубеву:

– Ты эти свои сомнения брось. Сейчас надо работать, а не сомневаться. – И еще он говорил: – Помни, за тобой ведется пристальное наблюдение.

Впрочем, он говорил это не только Голубеву, но и многим другим. Какое наблюдение и как именно оно ведется, Борисов не говорил, может, и сам не знал.

Однажды Борисов проводил в райкоме совещание председателей колхозов по вопросам повышения урожайности за текущий квартал. Колхоз Голубева занимал среднее положение по показателям, его не хвалили и не ругали, он сидел и разглядывал новый гипсовый бюст Сталина, стоявший возле окна на коричневом подцветочнике. Когда совещание кончилось и все стали расходиться, Борисов задержал Голубева. Остановившись возле бюста вождя и машинально погладив его по голове, секретарь сказал:

– Вот что, Иван Тимофеич, парторг твой Килин говорит, что ты мало внимания уделяешь наглядной агитации. В частности, не дал денег на диаграмму роста промышленного производства.

– Не дал и не дам, – твердо сказал Голубев. – Мне коровник не на что строить, а ему только диаграммы свои рисовать, трынкать колхозные деньги.

– Что значит трынкать? – сказал секретарь. – Что значит трынкать? Ты понимаешь, что ты говоришь?

– Я понимаю, – сказал Иван Тимофеевич. – Я все понимаю. Только жалко мне этих денег. Их в колхозе и так не хватает, не знаешь, как дыры заткнуть. А ведь вы потом сами с меня три шкуры сдерете, потому что я – председатель.

– Ты в первую очередь коммунист, а потом уже председатель. А диаграмма – это дело большой политической важности. И мне странно видеть коммуниста, который этого недооценивает. И я еще не знаю, то, что ты говоришь, ошибка или твердое убеждение, и, если будешь дальше держаться той же позиции, мы тебя еще проверим, мы в самую душу к тебе заглянем, черт тебя подери! – Рассердившись, Борисов хлопнул Сталина по голове и затряс рукой от боли, но тут же выражение боли на его лице сменилось выражением смертельного страха.

У него сразу пересохло во рту. Он раскрыл рот и смотрел на Голубева не отрываясь, словно загипнотизированный. А тот и сам до смерти перепугался. Он хотел бы не видеть этого, но ведь видел же, видел! И что теперь делать? Сделать вид, что не заметил? А вдруг Борисов

побежит каяться, тогда он-то выкрутится, а ему, Голубеву, достанется за то, что не заявил. А если заявить, так ведь тоже за милую душу посадят, хотя бы за то, что видел.

У обоих была на памяти история, когда школьник стрелял в учительницу из рогатки, а попал в портрет и разбил стекло. Если бы он выбил учительнице глаз, его бы, возможно, простили по несовершеннолетию, но он ведь попал не в глаз, а в портрет, а это уже покушение, ни больше ни меньше. И где теперь этот школьник, никто не знал.

Первым из положения вышел Борисов. Он суетливо вытащил из кармана металлический портсигар и, раскрыв его, сунул Голубеву. Тот заколебался – брать или не брать. Потом все же решился – взял.

– Да, так о чем мы с тобой говорили? – спросил Борисов как ни в чем не бывало, но на всякий случай отходя от бюста подальше.

– О наглядной агитации, – услужливо напомнил Голубев, приходя понемногу в себя.

– Так вот я говорю, – сказал Борисов уже другим тоном, – нельзя, Иван Тимофеевич, недооценивать политическое значение наглядной агитации, и прошу тебя по-дружески, ты уж об этом позаботься, пожалуйста.

– Ладно уж, позабочусь, – хмуро сказал Иван Тимофеевич, торопясь уйти.

– Вот и договорились, – обрадовался Борисов, взял Голубева под руку и, провожая до дверей, сказал, понижая голос:

– И еще, Ванюша, хочу тебя как товарищ предупредить, учти – за тобой ведется пристальное наблюдение.

Голубев вышел на улицу. Стоял по-прежнему сухой и солнечный день. Председатель отметил это с неудовольствием, пора бы уже быть и дождю. Его лошадь, привязанная к железной ограде, тянулась к кусту крапивы, но не могла дотянуться. Голубев взобрался в двуколку, отпустил вожжи. Лошадь прошла один квартал и сама, без всякого приказа, а по привычке остановилась напротив деревянного дома с вывеской «Чайная». Возле чайной стояла подвода с бидонами из-под молока, председатель сразу определил, что подвода из его колхоза. Лошадь была привязана к столбу. Голубев привязал к этому же столбу и свою лошадь, поднялся по шатким ступеням крыльца и открыл дверь. В чайной пахло пивом и кислыми щами.

Женщина, скупавшая за стойкой, сразу обратила внимание на вошедшего.

– Здравствуйте, Иван Тимофеевич.

– Здорово, Анюта, – ответил председатель, кидая взгляд в угол.

Там Плечевой допивал свое пиво. При появлении председателя он встал.

– Ничего, сиди, – махнул ему Голубев и подождал, пока Анюта нальет ему обычную порцию – сто пятьдесят водки и кружку пива.

Водку, как всегда, вылил в пиво и пошел в угол к Плечевому. Тот опять попытался встать, но Голубев придержал его за плечо.

– Молоко сдавал? – спросил председатель, отхлебывая из кружки.

– Сдавал, – сказал Плечевой. – Жирность, говорят, маловата.

– Перебьются, – махнул рукой Голубев. – А чего сидишь?

– А я тут Нюрку встрел, почтальоншу, да и обещался ее подвезти, – объяснил Плечевой. – Вот дождаю.

– Что, живет она со своим красноармейцем? – поинтересовался Иван Тимофеевич.

– А чего ж ей не жить, – сказал Плечевой. – Он у ней заместо домохозяйки, да. Она на почту, а он воду наносит, дрова наколет и щи варит. Передник Нюркин наденет и ходит, как баба, занимается по хозяйству, да. Я-то сам не видел, а народ болтает, будто он и салфетки еще крестом вышивает. – Плечевой засмеялся. – Ей-богу, вот сколь живу, а такого, чтоб мужик в бабском переднике ходил да еще вышивал бы, не видел. И ведь вот что интересно: прислали его будто бы на неделю, полторы прошло, а он и не чухается, да. Я вот, Иван Тимофеевич, не

знаю, может, это все от темноты, но народ думку такую имеет, что не зря он, этот армеец, сидит тут, а некоторые прямо считают – в виде следствия.

– Какого следствия? – насторожился председатель.

Плечевой знал о мнительности Голубева и сейчас нарочно его подзуживал и с удовольствием замечал, что слова его производят должный эффект.

– А кто его знает, какого, – сказал он. – Только понятно, что зазря его здесь держать не будут, да. Если эроплан сломатый, значит, его надо чинить. А если он в таком состоянии, что и чинить нельзя, значит, надо выбросить. Чего ж даром человека держать. Вот потому-то народ, Иван Тимофеич, и сомневается. Слух есть, – Плечевой понизил голос и приблизился к председателю, – что колхозы распускать будут обратно.

– Ну это ты брось, – сердито сказал председатель. – Не будет этого никогда, и не надейся. Работать надо, а не слухи собирать.

Он допил свой «ерш» и поднялся.

– Ты, Плечевой, вот что, – сказал он напоследок, – если Беляшовой долго не будет, не жди, нечего. И своим ходом дойдет, не велика барыня.

Прощавшись с Анютой, он вышел, сел на двуколку и поехал домой. Но сказанное Плечевым запало ему в душу и соединилось со словами Борисова о том, что за ним, Голубевым, ведется пристальное наблюдение. Какое же наблюдение и как оно ведется? Уж не через этого ли красноармейца? Не специально ли его подослали? Правда, на вид он вроде бы и не похож на такого, которого можно подослать. Но ведь те, кто подсылает, тоже не дураки, они такого и не пошлют, чтобы сразу было видно, что он подослан. Если бы знать это точно! Но как узнаешь? И тут у Голубева родилась дерзкая мысль: «А что если подойти к этому красноармейцу, стукнуть кулаком по столу, говори, мол, по какому заданию ты здесь сидишь и кто тебя на это направил?» А если даже за это и будет чего, так уж лучше сразу, чем так-то вот ждать неизвестно какой опасности.

10

Итак, полторы недели прошло с тех пор, как Чонкин попал в Красное и поселился у Нюры. Он здесь уже прижился, со всеми перезнакомился, стал своим человеком, и не было никаких намеков на то, что его отсюда когда-нибудь заберут. Нельзя сказать, чтобы Чонкину жизнь такая не нравилась. Наоборот, ни подъема, ни отбоя, не говоря уже о физзарядке или политзанятиях. Хотя и в армии в смысле еды он неплохо устроился, но здесь-то хлеб, молоко, яички, все свежее, лучок прямо с грядки, да еще баба под боком – чем не жизнь? Да на месте Чонкина любой согласился бы стоять на таком посту до самой демобилизации, а еще годок-другой прихватил бы сверхсрочно. И все-таки в положении Чонкина было что-то такое, что не давало ему жить спокойно, а именно то, что оставили его здесь вроде бы на неделю, но неделя эта прошла, а из части ни слуху ни духу, никаких дальнейших распоряжений. Если решили задержать, то надо сообщить как-нибудь, да и сухой паек не мешало бы пополнить. Это хорошо, что он здесь так вот пристроился, а то давно бы уже зубы на полку.

Последние дни, каждый раз выходя на улицу, Чонкин задирает голову и глядел в небо, не появится ли там медленно растущая точка, и прикладывал к уху ладонь, не послышится ли приближающийся рокот мотора. Да нет, ничего не было видно, ничего не было слышно.

Не зная, что предпринять, и отчаявшись, Чонкин решил обратиться за советом к умному человеку. Таким человеком оказался сосед Нюры – Кузьма Матвеевич Гладышев.

Кузьму Гладышева не только в Красном, но и во всей округе знали как человека ученого. Об учености Гладышева говорил хотя бы тот факт, что на деревянной уборной, стоявшей у него в огороде, большими черными буквами было написано: «Water closet».

Занимая неприметную и низкооплачиваемую должность колхозного кладовщика, Гладышев зато имел много свободного времени для пополнения знаний и держал в своей маленькой голове столько различных сведений из различных областей, что люди, знакомые с ним, только вздыхали завистливо и уважительно – вот это, мол, да! Многие утверждали, что, разбуди Гладышева в двенадцать часов ночи и задай ему любой вопрос, он, не задумываясь, даст на него самый обстоятельный ответ и любое явление природы объяснит с точки зрения современной науки без участия потусторонних божественных сил.

Всех этих знаний Гладышев добился исключительно путем самообразования, ибо смешно было бы приписывать тут какую-нибудь заслугу церковно-приходской школе, где он окончил всего лишь два класса. Знания, накопленные Гладышевым, может, и пролежали бы в его голове без всякого толку, если бы не Октябрьская революция, которая освободила народ от всевозможного рабства и любому гражданину позволила карабкаться к сияющим и каменистым вершинам науки. Надо еще отметить, что в освобожденном уме Гладышева и раньше возникало много оригинальных научных идей. Каждый жизненный факт не проходил мимо него незамеченным, а наталкивал его на различные мысли. Увидит, скажем, Кузьма на печи тараканов и думает: а нельзя ли, мол, их связать между собой и направить всех в одну сторону? Это ж такая сила получится, что ее можно с выгодой использовать в сельском хозяйстве. Посмотрит на облачко и думает: а нельзя ли замкнуть его в оболочку для использования в качестве аэростата? Говорят (теперь это трудно проверить), что именно Гладышев первым, задолго до профессора Шкловского, высказал предположение об искусственном происхождении спутников Марса.

Но, помимо всех этих попутных идей, была у Гладышева еще и такая, которой решил он посвятить всю свою жизнь и посредством ее обессмертить свое имя в науке, а именно: вдохновленный прогрессивным учением Мичурина и Лысенко, надумал он создать гибрид картофеля с помидором, то есть такое растение, у которого внизу росли бы клубни картофеля, а наверху одновременно вызревали бы помидоры. Будущий свой гибрид Гладышев назвал в духе

того великого времени: «Путь к социализму», или сокращенно «пукс», и намерен был распространить свои опыты на всю территорию родного колхоза. Ему этого не позволили, пришлось ограничиться пределами собственного огорода. Вот почему ему приходилось покупать и картошку и помидоры у соседей.

Опыты эти пока что реальных результатов не давали, хотя некоторые характерные признаки пукса стали уже проявляться: листья и стебли на нем были вроде картофельные, зато корни – точь-в-точь помидорные. Но, несмотря на многочисленные неудачи, Гладышев не унывал, понимая, что настоящее научное открытие требует труда и немалых жертв. Люди, знавшие об этих опытах, относились к ним с недоверием, однако кто-то Гладышева заметил и поддерживал, чего не могло быть в проклятое царское время.

Однажды в районной газете «Большевистские темпы» был напечатан о Гладышеве большой, в два подвала, очерк под рубрикой «Люди новой деревни», который назывался «Селекционер-самородок». Тут же была помещена и фотография самородка, склонившегося над кустом своего гибрида, как бы рассматривая сквозь него зримые черты прекрасного будущего нашей планеты. После районной газеты откликнулась и областная, напечатав небольшую заметку, а потом уже и всесоюзная в проблемной статье «Научное творчество масс» упомянула фамилию Гладышева в общем списке. В своих изысканиях и в борьбе с рутинной Гладышев опирался еще на отзыв одного сельхозакадемика, хотя отзыв был отрицательный. На письмо, направленное ему лично, академик ответил, что опыты, проводимые Гладышевым, антинаучны и бесперспективны. Тем не менее он советовал Гладышеву не падать духом и, ссылаясь на пример древних алхимиков, утверждал, что в науке никакой труд не бывает напрасным, можно искать одно, а найти другое. И письмо это, несмотря на его смысл, произвело на адресата сильное впечатление, тем более что напечатано было на официальном бланке солидного учреждения, где Гладышева называли «уважаемый товарищ Гладышев» и где академик собственноручно поставил подпись. И на всех, кто читал письмо, это тоже производило известное впечатление. Но когда самородок – в который-то раз – начинал с кем-нибудь обсуждать перспективы, которые откроются перед миром после внедрения пукса, люди скучнели, отходили в сторону, и Гладышев, подобно многим научным гениям, испытывал состояние полного одиночества, пока не подвернулся под руку Чонкин.

Гладышев любил рассказывать о своем деле, а Чонкин от скуки был не прочь и послушать. Это их сблизило, и они подружились. Бывало, Чонкин выберется на улицу по делу или так просто, а Гладышев уже копается в своем огороде – окучивает, пропалывает, поливает. И всегда в одном и том же костюме: кавалерийские галифе, заправленные в потертые яловые сапоги, старая драная майка и широкополая соломенная шляпа в виде сомбреро (где он только нашел ее, непонятно).

Чонкин помашет селекционеру рукой:

– Слышь, сосед, здорово!

– Желаю здравствовать, – вежливо ответит сосед.

– Как жизнь? – поинтересуется Чонкин.

– Тружусь, – последует скромный ответ.

Так, слово за слово, и течет разговор, плавный, непринужденный.

– Ну когда ж у тебя картошка-то с помидором вырастет?

– Погоди, еще рано. Всему, как говорится, свой срок. Сперва еще отцвести должно.

– Ну, а если и в этом году опять не получится, чего будешь делать? – любопытствует Чонкин.

– В этом должно получиться, – с надеждой вздыхает Гладышев. – Да ты сам посмотри. Стебель получается вроде картофельный, а на листе нарежь, как на томате. Видишь?

– Да кто его знает, – сомневается Чонкин, – сейчас пока вроде не разберешь.

– Ну как же не разберешь? – обижается Гладышев. – Ты погляди, кусты-то какие пышные.

– Насчет пышности – это да, – соглашается Чонкин. И лицо его оживает. У него тоже возникла идея. – Слышь, а так не может получиться, чтобы помидоры были внизу, а картошка наверху?

– Нет, так не может, – терпеливо объясняет Гладышев. – Это противоречило бы законам природы, потому что картофель есть часть корневой системы, а томаты – наружный плод.

– А вообще-то было бы интересно, – не сдается Чонкин.

Для Гладышева вопросы Чонкина, может, и кажутся глупыми, но чем глупее вопрос, тем умнее можно на него ответить, поэтому оба вели эти разговоры с большим удовольствием. С каждым днем дружба их крепла. Они уже договаривались, чтобы встретиться по-семейному: Чонкин с Нюрой, а Гладышев со своей женой Афродитой (так звал ее Гладышев, а за ним стали звать и другие, хотя от рождения она числилась Ефросиньей).

11

В этот день Чонкин успел переделать кучу дел. Натаскал воду, наколот дрова, накормил отрубями кабана Борьку и сварил обед для себя и для Нюры. После этого он обычно, как был в Нюрином переднике, садился к окошку и, подперев голову рукой, поджидал Нюру. А другой раз, чтобы время быстрее текло, садился к окну с вышиванием. Посмотреть на солдата, который сидит в женском переднике у окна да еще занимается вышиванием, – смех, но что делать, если Чонкину нравилось вышивать? Интересно ему было, когда из разноцветных крестиков складывалось изображение петуха, или розы, или еще чего-нибудь.

Сейчас он тоже начал вышивать, но работа не клеилась, мысли о неопределенности его положения отвлекали. Несколько раз он выходил на крыльцо поговорить с Гладышевым, но того не было, а зайти к нему домой, беспокоить Чонкин стеснялся, тем более что до этого ни разу не заходил.

Чтобы как-то убить время, занялся более тупой, чем вышивание, работой – вымыл полы. Грязную воду вынес за калитку и выплеснул на дорогу.

Девочка лет пяти в цветастом ситцевом платье играла возле забора с кабаном Борькой: сняла с головы шелковый бантик и повязала Борьке на шею. Борька вертел шеей, пытаясь разглядеть бантик, но это ему не удавалось. Увидев Чонкина, девочка поспешно сняла бантик с Борьки и зажала в руке.

– Ты чья будешь, девочка? – спросил Иван.

– Я-то Килина, а ты чей?

– А я сам свой, – усмехнулся Иван.

– А я папина и мамина, – похвасталась девочка.

– А кого ты больше любишь – папу или маму?

– Сталина, – сказала девочка и, смутившись, убежала.

– Ишь ты, Сталина, – глядя ей вслед, Чонкин покачал головой.

Впрочем, Сталина он по-своему тоже любил. Помахивая пустым ведром, направился он назад к дому, и в это время на свое крыльцо вылез Гладышев, взлохмаченный, с красными полосами по щеке.

– Слышь, сосед! – обрадовался Чонкин. – А я тебя тут дожидаю уже более часу, куда это, слышь, думаю, запропал?

– Соснул я малость, – смущенно сказал Гладышев, потягиваясь и зевая. – После обеда книжку прилег почитать по части селекции растений, а оно, вишь, разморило. Жара-то какая стоит, прямо наказание. Не будет дождя, так все чисто попалит.

– Слышь, сосед, – сказал Чонкин, – хошь табачку? У меня самосад крепкий, аж в горле дерет. Нюрка вчера на рынке в Долгове купила.

Он отогнул передник, достал из кармана масленку из-под ружейного масла, набитую табаком, и газету, сложенную книжечкой.

– Табак для здоровья – вреднейшее дело, – изрек Гладышев, подходя к жердевому забору, разделявшему два огорода. – Ученые подсчитали, что капля никотина убивает лошадь.

Однако от угощения отказываться он не стал. Закурил, закашлялся.

– Да уж, табачок-крепачок, – одобрил он.

– Табачок – самсон, молодых – на это дело, стариков – на сон, – поддержал Чонкин. – А у меня к тебе, слышь, сосед, дело есть небольшое.

– Какое ж дело? – скосил на него глаза Гладышев.

– Да дело-то зряшное, ерунда совсем.

– Ну, а все-таки?

– Да так, не стоит даже и говорить.

– Ну, а не стоит – не говори, – рассудил Гладышев.

– Это, конечно, правильно, – согласился Чонкин. – Но, с другой стороны, как же не говорить? Прислали меня сюда на неделю, и сухой паек на неделю, а прошло уже полторы, а меня не берут. И опять же насчет сухого пайка никакого известия. Значит, я что же, выходит, должен жить за счет бабы?

– Да, это нехорошо, – сказал Гладышев. – Ты теперь называешься – альфонс.

– Ну это ты брось, – не согласился Чонкин. – Ты, слышь, жену свою как хошь называй, хоть горшком, а меня зови по-прежнему, Ваней. Так вот я тебе к чему говорю. Письмишко надо составить к моему командиру, что я есть и как мне быть дальше. Ты-то человек грамотный, а я вообще-то буквы понимаю, а пишу плохо. В школе еще кой-как кумекал, а потом в колхозе и в армии все на лошади да на лошади – знай тяни вожжу то вправо, то влево, а грамоты там никакой и не нужно.

– А расписываться умеешь? – спросил Гладышев.

– Нет, это-то я могу. И читать и расписываться. Я, слышь, знаешь, как расписываюсь? Сперва пишу «И», потом «Ч», потом кружочек, и дальше все буква к букве, и в конце такую это черточку с вывертом, и на всю страницу от края до края. Понял?

– Понял, – сказал Гладышев. – А бумага, чернила у тебя есть?

– А как же, – сказал Иван. – Нюрка-то, она почтальоншей работает. Тоже работа, тебе скажу, не для каждого. Голову надо большую иметь.

– Ну ладно, – наконец согласился Гладышев. – Пошли к тебе, а то у меня там баба с дитем, будут мешать. А это дело серьезное, тут надо писать политически выдержанно.

Через час политически выдержанный документ был составлен. Выглядел он так:

*Командиру батальона тов. Пахомову
от рядового красноармейца тов. Чонкина Ивана*

РАПОРТ

Разрешите доложить, что за время Вашего отсутствия и моего присутствия на посту, а именно по охране боевой техники самолета, никаких происшествий не случилось, о чем сообщаю в письменном виде. А также разрешите доложить, что, воспитанный в духе беззаветной преданности нашей Партии, Народу и лично Великому Гению тов. Сталину И. В., я готов и в дальнейшем беспрекословно служить по защите нашей Социалистической Родины и охране ее Границ, для чего прошу выдать мне сухой паек на неопределенное время, а также недополученный мною комплект обмундирования.

В моей просьбе прошу не отказать.

К сему остаюсь...

– Складно, – одобрил Чонкин сочинение Гладышева и поставил свою подпись, как обещал, через всю страницу.

Гладышев написал еще и адрес на приготовленном Чонкиным конверте без марки и ушел довольный.

Чонкин положил конверт на стол, взял растянутую на пальцах салфетку и сел к окошку. За окном было уже не так жарко, солнце клонилось к закату. Скоро должна была прийти Нюра, кабан Борька поджидал ее уже на бугре за деревней.

12

Привязав лошадь к Нюриной калитке, председатель Голубев поднялся на крыльцо. Нельзя сказать, чтобы он при этом сохранял полное присутствие духа, скорее наоборот, он входил в Нюрин дом, испытывая примерно такое волнение, как входя к первому секретарю райкома. Но он еще по дороге решил, что войдет, и сейчас не хотел отступать от этого своего решения.

Постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, открыл ее. Чонкин при его появлении испуганно и растерянно зашарил глазами по комнате, ища, куда бы сунуть пальцы.

– Рукоделием занимаетесь? – спросил председатель вежливо, но подозрительно.

– Чем бы ни заниматься, лишь бы не заниматься, – сказал Чонкин и бросил пальцы на лавку.

– Это верно, – сказал председатель, топчась у дверей и не зная, как продолжить разговор. – Так, так, – сказал он.

– Так, не так, перетакивать не будем, – пошутил в ответ Чонкин.

«Все вокруг да около, уводит в сторону», – отметил про себя председатель и решил пощупать собеседника с другого конца, затронуть вопросы внешней политики.

– В газетах пишут, – осторожно сказал он, подходя ближе к столу, – немцы обратно Лондон бомбили.

– В газетах чего не напишут, – уклонился Чонкин от прямого ответа.

– Как же так, – схитрил Голубев. – В наших газетах чего зря не напишут.

– А вы по какому делу? – спросил Чонкин, чувствуя какой-то подвох.

– А ни по какому, – беспечно сказал председатель. – Просто зашел посмотреть, как живете. Донесение пишете? – спросил он, заметив на столе конверт с воинским адресом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.